## 176

## ПРОЗА



Скворушка пел, сначала негромко и робко посвистывал, как сквознячок, а потом, вытянув горлышко, залился, трепеща рыжими с изнанки крылышками. Митрич улыбнулся, разгладил ладонью редкую проволочную бородёнку и повернулся к Володе, молодому парню лет тридцати. У Володи коротко острижены волосы, лоб большой, выпуклый, белый, и за этот лоб мужики зовут Володю «Ленин».

- Как поёт, а? А ведь каждую весну прилетает! И скворечник-то вроде неказистый и мохом оброс, однако летит. Снуёт молча туда и обратно, чистится! Устанет, сядет на провод и сидит час, не шелохнется! Потом вспорхнёт и недели две как в воду канул. Вот что значит родной дом. Какой ни есть, а свой! Я скворечник-то, Володя, починил, паклей щели затыкал и внутрь ещё пакли наложил. Думаю, прилетит, а гнёздышко-то и готово. Тёплое, мягкое. Скворчихе понравится.
- А ко мне никто не ле́тит, пожаловался
  Володя. Вроде и скворечник новенький, а не хотят жить. А твою сараюшку любят...
- Любят, подтвердил Митрич. Серенькое, косонькое, а своё! Ты вот посмотри, снова продолжал он, каков скворушка! Вот на солнышке он рыженький, коли пёрышки распялит. Повернётся чуток и весь в крапинках и зелёным отливает. Помнишь, такие чернила были: вроде и чёрные, а глянешь сбоку и зеленью светятся! А-а, ты ведь и не знаешь! Молодой ещё! Не жил тогда. А вот смотри, как ещё бывает: солнце в тучку, а он сидит, чёрный, как уголь из печи...
- Это солнечные лучи преломляются, сказал Володя.
- Преломляются! уважительно повторил Митрич. А всё равно красиво. Вот слушаешь его, и душа радуется. Ровно как жить хочется. А сам-то вчера порадовался?
- Да порадовался, кивнул Володя. Голова болит от радостей. А у тебя?
- Есть немного, признался Митрич, а поправить-то есть чем?
  - Вот, Володя похлопал по куртке.
- Вот! передразнил Митрич. А что сразу-то не сказал?
- Так ведь скворушка!.. виновато усмехнулся Володя.

Скворушка умолк, раскланялся, оттопырил подсвеченное солнышком крыло, хотел вспорхнуть, да передумал. Утренний ветер тёплыми тугими волнами заходил с распаханного поля, выдул слезу из старых глаз Митрича. Галки, взблёскивая разлаченными спинками, бродили по отвалам поля, соскакивали в борозды. И ясно, и уютно звучали их вспрашивающие голоса.

Дом Митрича стоял на склоне. Володин — чуть повыше. И всё бескрайное, глубокое небо, будто опрокинутая на бок голубая фарфоровая чашка, тепло и задумчиво лежало перед ними.

От нагретой стены крепко пахло старинным столетним деревом, масляной, облупившейся краской и ещё – притаённо – печалью. И вдруг, как и давеча, показалось Митричу, что этот день, весенний свежий, нарождающийся звуками, радостью, теплом, вот этими собранными в зелёную щепотку листьями, скворушкой этим – будто не для него уже. Вот как сидишь за праздничным столом и с грустью, завистью немою глядишь на молодых, которые смеются рядом, шутят, стремительно вскакивают, как пружинки какие, в пляс пускаются, и ты вроде с ними, да не с ними только, а так, сбоку как-то... Вдогонку. «Да я ещё!..» — думаешь. А что ещё, Митрич, что? Прошло, убежало твоё времечко. Коротко прошедшее, как и не бывало, а будущее ещё короче. Сиди лучше, скворушку слушай. И сжалось сердце Митрича, как береста под огнём, — туго, не расплести.

- Здесь выпьем? Я и хлебушка взял, спросил Володя.
- Не-е, немного стыдясь, отвечал Митрич.
  У меня Глаша сейчас вернётся. Сразу докажет, что земля шар, а не полушарие. На запольки пойдём.

Володя вздохнул:

- Да мы ведь по-быстрому!
- Да не люблю я по-быстрому, отмахнулся Митрич. — Сам ведь знаешь.

Натянул на плечи стёганую безрукавку, поскрёб проволочную бородёнку и спросил обречённо:

- Много ли у тебя?
- Целая.
- Ну, пойдём, что ли.

Они поднялись. За околодком поле сбегало

полого вниз. Утренняя свежесть, обнявшая их плечи, когда они шагали длинными амбарными тенями, отступила. В простенках света между амбарами стояли жёлтые, как мёд, столбы солнца.

- Давай здесь! Митрич скатился по склону. Глянь-ка, Володя, и осинка над нами. Ишь, голенастая какая! И тепло, и ветру нету, и речку видно.
  - И Глаша далеко! пошутил Володя.
- И Глаша далеко, согласился Митрич. Теперь мне можно. Наливай по чуть-чуть!

Митрич скинул безрукавку, подсунул под себя и стал ждать. Володя достал из кармана бутылку, блеснувшую стеклом, налил в приготовленные стопочки, выложил на кепку нарезанный хлеб. Митрич вытащил луковицу, расщепил ножиком на четыре части и полюбовался:

— Вот и стол готов! А наш стол, как престол. Враз царями будем! Давай, Володюшка, как говорит моя Глаша: скусного недосыта, хорошего понемножку!

Выпили. Митрич отёр руки о свои серые, выцветшие на коленях штаны и вздохнул:

– Ох, хорошо жить!

Посмотрел вокруг себя. Старая, пустотелая трава шелестела над его головой. В осинках переливалось солнце, поздно они зеленеют. Вон берёзки все в зелёной дымке, а вербушки золотом просвечивают, а эти ждут чего-то, будто стыдятся поспешности всякой.

Птицы защебетали снова, и один голосок раздавался переливчатый, звонкий. Споёт и замолчит, будто испугается, потом снова попробует, то же самое.

- Знаешь, кто это? спросил Митрич. Зарянка! Если она с вечеру запоёт, дождя жди. Люблю я весну, Володя! Вот, кажется, шестой десяток доживаю, ничем себя удивить не могу, а вот придёт весна и всё будто в первый раз! В деревню-то надолго приехал?
  - Так на майские! ответил Володя.
- На майские, повторил по привычке
  Митрич. Привык к городу-то?
  - Да ко всему привыкаешь.
- Шумно там, Володя. Я привыкнуть не могу шумит, гудит... А у нас? Тишина-то какая! Тёплая, мягкая! У нас каждый звук, каждый голосок по раздельности. Чувствуешь? Вот ус-





лыхал бы ты в городе зарянку? Нет, не услыхать её. Да и не житьё им в городе.

Володя усмехнулся:

- Давай, зарянка, выпьем ещё!
- Давай!

Митрич потянулся, отщипнул чешуйку лука, выпил, откинулся на траву и стал смотреть в небо. Володя примостился рядом, подсунув под голову толстый кулак.

- Соскучился я по деревне, дядя Митя! И по весне соскучился. Уезжать не хочется. Был бы колхоз, я б землю пахал. Зарянку твою слушал. А так приедешь дня на три, только себя растравишь. Дров матери наколешь, воды натаскаешь и вот уж ехать надо. Век бы от дома не уезжал.
- Я знаю, сказал Митрич. По тебе видать. Помню, мне отец трактор доверил, поле попросил вспахать. Мне лет четырнадцать было! Я педальку-то едва достаю, тянусь, пыхчу, боюсь огрех сделать, скривить то есть. Чтоб про отца плохое не сказали. Сам-то он в Шатрово побежал за водкой, отче наш! А я за него! Я до зорьки пахал. Гордый, счастливый! Со всеми гордостью хотел поделиться! Гляньте-ка, Митька-то поле вспахал, бороздёнки-то как по ниточке! Тут, Володенька, не в росте дело. В другом!
- А чего тебя Митричем зовут? повернулся на бок Володя.
- А-а! заулыбался Митрич. Не слыхал, что ли? Это от бабки моей. Я ведь маленький, как все, родился. Думал, вырасту, а маленьким взял и остался. Ворчливый был, беда! Всё мне негоже. За мою воркотню бабушка и стала меня звать Митричем. Митрич да Митрич, а там и деревня подхватила. У меня и ещё прозвище было: Воробей в галошах! Для домашнего пользования. Это когда мне пальто на вырост купили. Полы ниже колен! Галошки торчат! Одел, стою, плачу. Куда в таком выйду? Засмеют же! А бабушка первая и смеётся: воробей в галошах! Боялся я, что меня воробьём будут звать. Да пронесло! Я ведь, Володя, всё вырасти хотел! На турнике по часу висел, думал: вытянусь. В армию не брали! Я в ноги падал: да хоть танкистом меня возьмите. В танке-то маленькому самое то! Дед-то у меня в танкистах воевал, чуток пониже меня был - метр пятьдесят. До войны девки-то и смотреть не хотели! А вернулся — так первый парень на деревне! Правда, в околке-то из всех только он и остался...

- Так взяли в армию-то?
- В армию-то? Взяли, засмеялся Митрич, связистом. Такого танкиста во мне проглядели! Такого танкиста! Вернулся я весной, на майские, как и ты сейчас. На танцы побежал, а там и Глаша, Глафира Александровна, учительница географии! Здравствуйте, Глафира Александровна! Тоненькая была, хрупкая, глазки раскосенькие, сарафанчик в горошек меленький. Пошли с ней в сельский совет осенью расписываться, а мужики и гогочут: скамеечку бы взял! Как целоваться-то будешь? Вот черти! Приданое, знаешь, какое у неё было? Глобус! Через всю деревню ко мне с глобусом шагала! Как флаг на демонстрации несла! Хорошо мы с Глашей живём, — вздохнул Митрич и почесал бороду. – Строгая она у меня только! Директор! Кому хочешь докажет, что земля — шар, а не полушарие! Я её, Володя, песнями взял, как запою, как запиликаю на гармошечке! Тут её сердце и сдвинулось в мою сторону...

Они замолчали. Так всегда бывает: шутят, смеются люди, и вдруг посреди весёлого разговора замолчат, будто и сказать нечего, и каждый думает о своём, от всех спрятанном, или ни о чём не думает, а просто смотрит в окно или в небо, и бог знает, к чему он прислушивается.

А Володя думал о маме, думал о том, что через день ехать. Как, торопясь, будет складывать в рюкзак свои нехитрые пожитки, а она будет стоять рядом, смотреть и ждать, что вот он остановится и обнимет, и поцелует её. Она всегда сжимала свои худенькие, тощие плечи, будто зябла, и блаженно закрывала глаза, подставляя ему холодную дряблую щёку. «Не провожай! – говорил он и потом, словно оправдываясь, горячо обещал. – Я дней через десять приеду, я – скоро. Сама понимаешь, там – завод, там — работа. Я денежку заработаю, летом крышу перекроем. Будет крыша у нас зелёная или красная, какую захочешь!» Мама крестила его мелко, щепоточкой: «Ты не волнуйся, Володенька, ты поезжай! За мной ведь, если что, присмотрят, Глаша, Митрич, Ваня придёт... Ухо-то, смотри, как на работе ожёг! Ты там металл-то на заводе поосторожней руби!»

Плачет кто-то, — сказал Володя, приподнимаясь на локте. — Слышишь, дядь Митя?
 Плачет!

Митрич прислушался.

- И вправду плачет. Володя, кто это? Собака?
- Собака.
- Гле же она плачет? Голос как из-под земли илёт.

Митрич привстал на коленях, вытянул шею:

– Ишь, как жалобно выводит! Мучается. Пойдем поглядим, где она? Да бутылку-то оставь, вернёмся!

Глухой, дрожащий плач собаки снова поднялся в небо и пропал, покачиваясь. И странно было Митричу, что в день такой солнечный, праздничный ещё кто-то и плакать может.

 В околке-то собак нет, — заметил Митрич. Откуда какая взялась?

Он стоял на взгорышке, вертел головой и прислушивался, и вдруг тихий, полный отчаянья стон раздался ровно из-под земли и замер.

 В колодце! – вскричал, догадываясь, Митрич. – В колодие она! Володя, бежим!

Собака была в колодце. Митрич заглянул в чёрное обмёрзлое нутро, перегнулся глубоко через сруб и едва угадал на ледяном козырьке рыжий дрожащий комок в серых пятнах. Он выпрямился, и собака, испугавшись, что он не увидел её, что уйдёт сейчас, хрипло, надорванно взлаяла.

- Да потерпи, вытащим! крикнул Митрич. - Володя, звони-ка Ивану, пускай с лестнипей бежит. Я слазаю.
- Лучше мне слазать, сказал Володя, я ловчее.
- Да где тебе, оглобля такая! сердито отрезал Митрич. - Там нагнуться надо, а я маленький, подлезу. Звони давай! А то она в воду сунется!

Иван притащил лестницу. Отдуваясь, выпучивая от натуги глаза, он тут же опустил её в колодезное горло, надавил на верхнюю ступеньку, чтобы она плотнее встала на дно, и только тогда перевёл дух.

 Собака – там? – спросил он, заглядывая в колодец. – Как вы и услышали? Я выходил, ничего не слыхал. Ты давай, Митрич, полезай, полезай, да куртку мою надень, собака-то, поди, вся вымокла? Рубаху-то всю вымочишь!

Митрич перешагнул через сруб, попробовал ногой ступеньку и, цепляясь спиной и локтями за неровные стенки, стал спускаться. Его глаза

скоро привыкли к темноте. В углу колодца, на намёрзшей ледяной полке жалась собака. Толстая, рыхлая снежура на своде капала редкими звонкими каплями. Собака боялась пошевелиться и снова соскользнуть в воду. С мольбой и страхом она глядела на Митрича и молчала.

- Ишь ты, бедная моя, сказал тихо Митрич. – Ну, давай, давай, поди сюда! – и потянулся к ней, но не достал. Собака подняла переднюю лапу и тут же опустила. Полка была скользкая.
  - Чего там? крикнул Иван.
- Да не достаю! ответил Митрич. Я ниже спущусь.

Он сделал шаг вниз, потом ещё и ощутил тут же сквозь резину сапог, как плотно и холодно обхватила вода его ноги. Песчаное дно просвечивало в качающемся кругу света, и нижняя часть лестницы казалась надломленной.

«Сапоги залью, – подумал Митрич, – да и бог с ними!» Держась рукой за тетиву лестницы, он широко шагнул, нашаривая ногой дно, схватил за загривок собаку, дёрнул к себе, чувствуя, как льдом заливает сапог, и ухнул, оступившись вниз, но собаку не выпустил. Выправившись, он стал медленно подыматься. Собака всё так же молча прижималась к нему, неловко растопырив лапы. Острый нос, как ледышка, уткнулся Митричу в шею. Она не дрожала — она тряслась всем своим худым измученным телом, и Митрич даже сквозь куртку слышал, как быстро и часто бьётся её перепуганное сердце.

 Ну, всё, всё, – приговаривал он, – потерпи! Ваня, Володь, пособите-ка! – крикнул, пролезая в узкое горло, чувствуя, как сильные горячие руки отрывают от него собаку, а потом ташат и его.

Солнце ослепило. И сразу сильное земляное тепло дохнуло ветром в лицо и крепко обняло всего, как закутало с головой.

- Митрич! Ты водочки выпей! суетился Иван. — Согреешься! Сапоги-то залил! Ты как сорвался в воду — я думал, всё, одна кепочка заплавает. Ты в воду-то чего полез?
- Так я ж маленький, удивился Митрич. И рука у меня маленькая! Я б её не достал! Ну, где чудо-то? – и наклонился к ошеломлённой собаке, потрепал по её рыжей, холодной, как



о- ними лапами. Здесь они не достают, оттого любят, когда им тут чешут!

- Водка ещё осталась, напомнил Володя.Может, за спасение её души?
- А давай! обрадовался Иван, смахивая с ладони налипшую шерсть. — Володя, полей-ка на руки!

Володя зачерпнул воды, и Иван под струёй стал мыть руки, заводил сильными, округлыми плечами, зафыркал от холода.

- Колодезь надо почистить, пока вода небольшая, а то болото оттает — поздно будет. Насосом откачаем воду, дно почистим. Митрич, чего скажешь?
- Давай, согласился Митрич. Мне всё равно.
  - Заодно и отметим мир-труд-май!
- Да мы вчера отмечали.
- Отмечали, только бутылки летали! засмеялся Иван, растирая красные руки. Ух, как сводит! потом вытащил телефон и закричал весело, скаля белые выпуклые зубы: Тонь! Ты закусочки сообрази! Мы колодезь наш почистим! Да! Да. Митрич собаку спас!

И пока они чистили колодец, а потом на берегу, часа через три, весело и споро, низко пригибаясь и налегая грудью на аншпуги<sup>2</sup>, спускали на воду Иванову шитуху<sup>3</sup>, выкрашенную густо и жирно синющей краской, пока брели к Володиной маме на пироги и кололи, крякая, свиловатые<sup>4</sup> чурки, собака была рядом. Возле Митрича. Она не сводила с него благодарных, всё понимающих глаз, будто вглядывалась в самое сердце. И Митрич, наклоняясь к ней и тоже заглядывая в её глубокие, медленные глаза, спрашивал, тревожась этого чудного взгляда:

— Ну, чего ты, чего? Теперь ты — со мной, а я — с тобой. Теперь уж мы никуда... — и почёсывал за ухом. — Надо бы имя тебе придумать, хорошее такое имя, верное! Чтоб на всю жизнь... — и морщил свой лоб, пытаясь найти в душе слово, мучился, ощущая и предчувствуя его, не в силах, однако, вымолвить...

Собака поднималась на задние лапы, вытягиваясь, упиралась в его грудь, и он обнимал её, утыкался носом в широкий твёрдый лоб и говорил всем:

А вот собака-то не обманет! Не обманет...

наледь, голове. — Ну, всё-всё, спаслась! В колодезь-то как угодила? Вань, а может, и ей водочки? Изнутри согреться. Смотри, как трясёт её бедную!

Ты сначала сам прими! – крикнул Иван. –
 Да сапоги сымай!

Митрич выпил водки, сел на край мостков и стал стаскивать сапоги, выливая воду с налипшими льдинками. Собака тесно прижалась к его спине, потом сместилась и, подсовывая морду под локоть Митрича, потянулась к его лицу, лизнула редкую бородёнку.

— Ну, будет, будет, — ласково говорил довольный Митрич, гладя её по твёрдой, будто деревянной спине. — Ну, давай, давай... и тебе водочки. Надо, согреешься! Гляди, какая простылая, так и лапы протянешь. Володя, подержи-ка ей голову!

Собака закашлялась, затрясла головой, потом повалилась на брюхо, широко расставив передние лапы.

— Шерсть-то какая густая! — говорил Митрич, запуская руку. — И до самого низа промокла. Лежи, сушись. Хлебушка будешь? — и сунул под нос краюху хлеба.

Собака ему нравилась. Нравились рыжие упругие уши, нравились глаза, умные, усталые. Собака съела хлеб, потом её стало морить, она закачала головой и, привалившись тяжело к ноге Митрича, задремала, подёргивая белыми бровями. И Митричу не хотелось вставать, не хотелось беспокоить собаку — так хорошо было сидеть на мостках и чувствовать её тяжёлое ослабевшее тело. Он снова и снова запускал пальцы в её тёплую отопревавшую шерсть, потягивал, почёсывал за ухом и удивлялся, а почему у него раньше не было собаки?

- Теперь она от тебя никуда! сказал Иван, опускаясь на корточки. Теперь ты её спаситель. Чего делать будешь? Себе возьмёшь?
- А возьму, сказал Митрич. Чего не взять? Гляди-ка, лапа-то какая крупная, широкая! Володя, чего скажешь?
- А бери, дядя Митя! Веселей будет! Хоть одна собака в околке появится!
- Кто её и в колодезь-то кинул? сказал Иван. Как ты, дура, в колодезь-то попала? и тоже стал почёсывать собаку. Ты, Митрич, вот здесь чеши, показал он, между перед-

- Hv. v вас любовь с первого взгляда! - шvтил Иван и поворачивался всем телом к жене. - Тонь, ты погляди, как она его признала! Весь день ни на шаг от него!

И все смеялись, довольные собой, и Митричем, и собакой.

 – Митя! – с улыбкой говорила Володина мама. – Митя! Ты ей шанежку дай! Пусть она шанежки поест! Да не кроши, ты ей целую, целую подай!

И все смотрели, как ест собака.

Через час он стоял потерянный посреди улицы. Глаша собаку не приняла, даже за порог Митрича с ней не пустила.

- Где шатался? спрашивала она. Где, говорю, шатался?
- Чего мне шататься? отвечал Митрич. Я не шатался! Мы колодец почистили, лодку Иванову на воду спустили, дров Володе наколоть помогли.
  - А дома что? Работы нету?
- Ты сама ж сказала: делай что хочешь! Вот я и делал, что хотел. Не ругайся, Глаша, смотри, кого я привёл! Кого я сегодня спас!

Митрич приобнял собаку и сказал:

- Глаша у нас добрая! Ты не смотри, что сейчас сердитая. Это с неё как вода сойдёт! Она отходчивая, поругается да забудет. Глаш, я её из воды вытащил, из колодца. Её кто-то в колодец бросил. Шерсть у неё ещё сырая. Пускай она за печкой ночку поспит, обсохнет вся, а то ночью во дворе простынет. Заморозок будет ночью-то! Жалко...
  - И не подумаю! ответила Глаша.
- У неё шерсть внутри ещё сырая! Я думал, на солнышке высохнет, а она не высохла. Ты потрогай её! — он взъерошил шерсть на спине собаки. – Она ни на шаг от меня сегодня: куда я — туда и она! Ей поспать в тепле надо. Зачем ты так, Глаша? Она в колодце на льду ночь просидела!
- Потрогать? усмехнулась Глаша. Потрогать! Да от неё же псиной воняет, и я не знаю, от кого больше псиной воняет. Не пушу! Я полы сегодня все намыла. Не нравится? Так иди куда хочешь! Где шатался, туда и иди!

Митрич опустил голову, погладил собаку, переминулся с ноги на ногу и сказал, не споря:

 Пойдём, собака! — он ещё не знал её настояшего имени. – Пойдём!

В старом сарае, который Митрич пытался перестроить, сквозь обрешётку крыши светились звёзды. Самые крупные, самые спелые, как бывает в мае. Сарай, плотно набитый древесным запахом, поскрипывал дверью. Шаркал по стене веником, подвешенным на гвозде. Митрич бросил на сложенные доски фуфайку, сел, поёрзал, устраиваясь поудобнее, привлёк к себе собаку и стал ждать, надеясь, что Глаша опомнится и позовёт их.

 Ты на Глашу не обижайся! У неё работа нервная. ФГОСы у неё. А я? Что я? Непутёвый. Всё к одному сощлось. Но она добрая, отходчивая. Вот увидишь, сейчас прибежит, домой позовёт. Как тебя одну оставишь? Ну как? Никак не оставишь! Я теперь за тебя ответственный.

Но Глаша не шла. На кухне погас свет. И Митрич не понимал, отчего ещё недавно он был так счастлив, ведь это было совсем недавно, часа два или три назад, а сейчас всё больно и горько, досадно и непонятно. Плохо, когда радость в боль переходит. Он вспомнил, как Володина мама спрашивала с заискивающей улыбкой, какая порой бывает у старых и слабых людей:

- ...Митя! А ты печечку нам переложишь?
- Сложу! улыбаясь, отвечал счастливый Митрич. – Мне ведь всё равно, можно и по новой скласти.
- Мне ведь всё равно, повторил Митрич. Я сам себя обманываю. Не придёт она. Чужая стала. Всё стало чужим... Отчего всё так? – спрашивал Митрич, не замечая, что говорит вслух, будто спрашивает не себя, а собаку, но, может быть, он спрашивал и её, находя в ней и собеседника, и соучастника. И сообщника в своих переживаниях.
- Девки выросли, рассказывал Митрич собаке, - разлетелись по свету. Да и что говорить: девки как ломоть отрезанный. А Глаша? Любила ли ты меня когда-нибудь, Глаша? Была ли любовь или засохла вся?

«Я не могу больше так, — говорила Глаша два дня назад, – не могу! Разные мы с тобой, Митя, разные! Всю жизнь ты по людям бродишь. Помоги, пособи! Никому не откажешь! А хоть кто-нибудь из них пришёл к тебе: дай-ко, Митрич, помогу! Никто не идёт! А тебя — только пальчиком помани!»

«Да какие ж мы разные, Глашенька, ты что?



- отвечал, испугавшись, Митрич. Мы ж тридцать лет с половиною рука об руку с тобою идём! Мы же срослися! Мы же проросли друг в друга, Глаша? Чего тебе ещё надо?»
- Старый я стал, собачушка, вздыхая, говорил Митрич. Вперёд и смотреть не хочется, я теперь всё в прошлое смотрю...

И снова вспомнилось Митричу, как они с Глашей шкаф покупали. Новенький, с зеркалом, трёхстворчатый! По записи! Везли из магазина в телеге тракторной. Тарахчит трактор, взрёвывает.

Ты только держи, Митя! — просит Глаша.Не отпускай!

А сама ещё пуще в шкаф вцепляется, обняла, навалилась полной грудью и улыбается:

– Держи нас, Митенька, не урони!

Держит Митенька, смеётся, глядит в Глашины глаза, а в зеркале — вся улица деревенская: дома, небо, собаки, — бежит, бежит от них, шатается. И по всем домам наискось от их зеркала свет солнечный прыгает, рыскает, высвечивает! Откопать бы это время счастливое! Душу бы свою счастливую откопать...

- Митя! говорит Глаша. Я хожу как бочечка.
- Да какая ты бочечка? удивляется он. –
  Наоборот, павушка! и обнимает её. Кто там у тебя: девка, парень?
- Девочка, шепчет Глаша. Она вся такая круглая, мягкая...

Митрич встряхивается, глядит на прижавшуюся к нему собаку и зовёт:

 А пойдём, милая, на речку? Чего сидеть-то? Сиди – не сиди, ничего не высидишь...

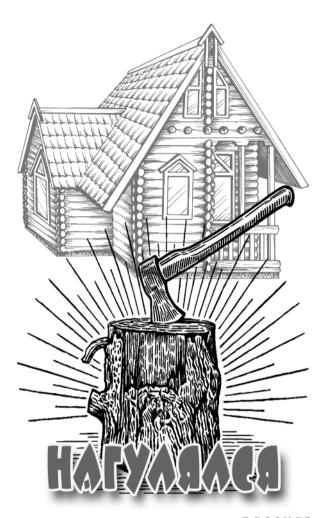
Собака вскочила, подалась назад, прогибая спину, завиляла хвостом. И они побрели к реке. Маленький козодой выпорхнул из затихшей травы, взлетел в небо и загудел в свою трубочку. Собака подняла уши и улыбнулась. «Ку-ку!» — кругло и ясно раздалось слева, и Митрич отметил про себя радостно: «Ну всё, лето пришло! Нынче на две недели всё раньше приходит, почто так?» Он остановился и стал всматриваться в сумеречные кусты, пытаясь разглядеть кукушку. Собака тоже остановилась, и Митрич опять почувствовал горячую тяжесть её упругого тела, привалившегося к ноге.

Под угором жемчужно-белый туман запотягивал луг у Камышарских озёр. В синем полуночном небе переливались редкие звёзды. Иванова лодка тихо постукивала бортом о старенький бон, к которому была привязана. Тонкая смоляная верёвка, кабалка, то натягивалась, подчиняясь течению, то ослабевала, и тогда тихое «тук» раздавалось под берегом. Митрич и собака сидели молча, боясь пошевелиться, блаженно ожидая очередное тихое «тук». Спокойное синее небо задумчиво смотрело на них. И Митрич чувствовал, как печаль, сотканная из недавнего горя, а теперь восторга и благоговения, снова томит и обнимает его, обступая со всех сторон, так что нет ничего, а есть только он и это бесконечное небо, и сопричастность к нему.

Митрич опустил голову и будто впервые увидел свои руки, широкие, лопатообразные, с толстыми негнувшимися пальцами, старыми, как узловатое дерево. Много ли труда подъяли они? Кто он? Что он перед этим непостижимым и великим небом? Зачем он? Вся его жизнь, полная суеты, несуразностей, ссор с Глашей, показалась ему вдруг пустой, стремительной, неудавшейся. «Господи, чего ж я маюсь? — спрашивал он, укоряя себя, и не находил ответа. — Зачем я живу?»

На востоке, за горою, налилось румянцем небо. И знал Митрич, что ещё немного, и запоют птицы, запереливаются друг перед другом ручейками.

- Уйти бы... сказал Митрич, качнувшись. Уйти бы куда глаза глядят! и, поворачиваясь к собаке и обнимая её, спросил: Вот маюсь, собачушка. А придёт ли что-нибудь или кто-нибудь, чтобы спасти меня от маеты этой?
- Конечно, придёт! ответила Собака и взглянула грустно и доверчиво на Митрича. Когда я сидела в колодце, так же глядела на звёзды и думала: а придёт ли кто-нибудь, чтобы спасти меня? А ты взял и пришёл!
- Пришёл, откликнулся Митрич и тихо закрыл глаза.



рассказ

- у, говорил же я тебе: черту выбирай. l а за черту не переступай! А у тебя что получается? Да топор-то завали чуток левее, легче будет!
- Да не получается, Дорофеевич! Не получается, как у тебя, — говорил расстроенно Артём. Не выходит! — оборачивался и блестел обиженно глазами.
- А ты где был, когда я левый стамяк окосячивал? Где глаза твои были? Куда смотрел?
  - Да смотрел я, смотрел!
  - Смотрел, да мимо!

Дорофеевич отобрал топор, встал против проёма, пошире расставив короткие, толстые ноги. Из себя весь плотный, твёрдый, как дерево, сбитый крепко, как приземистый пинежский амбарчик. Шеи v Дорофеевича нет, и оттого он поворачивается сразу всем телом, шурит круглый глаз, ворчит, и всё-то ему негоже: и это не так, и другое неправильно.

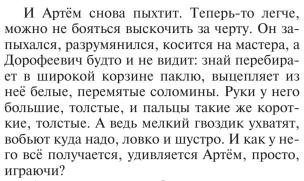
- Гляди! и пошёл, пошёл тюкать носочком топора по чернильной чёрточке, ровненько, аккуратненько. Тук-тук! Одинаково сильно, выверенно поднимался и опускался его топор, глубоко рассекая смолёвое дерево. Дошёл до середины стены, сколол лишнее и сунул Артёму топор.
- Теперь, парень, сам! Спина чего-то с утра не гнётся! Глядел, как я делал?
  - Глялел!
  - Раз глядел, так повторяй!
  - Дорофеевич! А может, пилой шаркнем?
- Пилой и дурак шаркнет! Сам ведь захотел топором, как деды делали! Али перехотел?
- Да не перехотел я! увернулся Артём. Просто подумал, пилой быстрее. Один косяк можно и так поставить.
- Косяк! Сам ты косяк! рассердился Дорофеевич. – Стамяк это, понимаешь, стамяк!
- A у нас в городе косяком зовут, а тут стамяк! Отчего так?
- Потому что ставмя ставят! Не болтай! Работать надо!

Артём нехотя опускается на колени, устраивается поудобнее, сручнее и робко, стараясь подражать Дорофеевичу, бьёт по дереву. Дорофеевич видит, морщится, грузно садится на ящик.

 Давай-давай, не оглядывайся! Думаешь, у меня сразу получалось? Что ты! Всякое бывало! И по загривку прилетало! Да, поди, сам знаешь про клин да про мох? Черту выбирай, да не переступай! Куда опять торопишься?

Артём недовольно поводит плечами. Шее в вороте рубахи горячо, тесно, и он торопливо расстёгивает пуговицы, почти рвёт их.

- А почему наискосок-то, под угол рубят, когда окосячивают?
- Да топору легче! усмехается Дорофеевич. – И дереву дышать надо! Плотно притешешь – вымерзнешь в морозы. Потому возле шипа просторнее делают — для тепла, для пакли, для мха. Понял? Ну-ка, дай погляжу, что накорестил<sup>5</sup>? — тянется и ведёт рукой по сколотому, глаз щурит. – Ладно! Добро! Давай сверху начинай!



- А топор-от твой где? вдруг вспоминает Дорофеевич.
- Да там! машет рукой Артём. Притупился малость. Твоим, Дорофеевич, любо-дорого работать! Он будто сам идёт!
- Топор-от, парень, как личное оружие, всегда в чистоте и остроте держать надо. Сел покурить, брусочек возьми да поправь, понял? Тащи-ка свой топор, погляжу его! Топор-от, Артёма, разный бывает. Стены тесать те кривые! Для правой стены и для левой стены есть свой особенный топор. Они колбастые такие, ну, чтоб не зажимало, чтоб щепа отскакивала. Колбашечки! Для такого дела топоры старые бери, выработанные... А для столярки лезвие топора должно быть прямое...
  - Да знаю я. Рассказывал!
- А ещё раз послушай! За то денег не берут. Давай доделывай! Эдак мы с тобой до вечера двери не поставим. Топор-то свой как угваздал! Гвозди, что ли, рубил? Щёки-то у топора поболе снять надо, легче по дереву пойдёт. Вечером приходи, на наждаке обдерём лишнее.
- А с обеда ко мне Венька приедет... Вениамин, друг. Некогда мне будет!
  - А чего так?
- Посидеть надо, поговорить, давно не видались. Да и ему любопытно, хочет дом поглядеть!
- Дом-от не медведь! Его в любое время поглядеть можно! А ты его лучше в работу впряги. Сарай у тебя недошит. Кирпич старый почистить надо. Хороший ведь кирпич, домодельный. Что ж, что в печке стоял? Зато теперь такого не делают! Новый начнёшь колоть, а он в руках крошится! Соль одна! Будто нет у них глины хорошей? Ране глины вручную месили, каждый камешек из неё вынут! А нынче машины! А ей и дела нет, что ей там подложили.

За глиной надо, Артёма, съездить! Друг-от, чай, на машине приедет?

- Да ну, Дорофеич, неудобно!
- Спать на потолке неудобно! Ладно, сам скажу! Давай, Артюха, пошевеливайся!

Дорофеевич берёт брусочек, плюёт на него, разводит мокрое большим пальцем и правит топор, шуршит, скребёт мелким брусочком.

- Какой у меня брусок хороший! Сколько топоров да ножей им выправил не сосчитать! Ранее вот такие камешки нам из Шуеньги привозили, на корзинки здешние меняли. Разделение труда было: в каждой деревне свои мастера. Ярмарка у нас была. Знаешь где? У Крестика. Вот там и меняли.
- Да когда это было-то?
- При царе ещё.
- А тебя послушаешь, будто вчера это было! Странный Дорофеевич, словно времени не признаёт: начнёт рассказывать, как при царе-батюшке жили, ровно сам оттуда явился! И нет ему разницы, когда дело было, сто, двести лет назад...

Давай, Артюха, давай работай! Чего головой мотаешь, али хомут неловок?

Артёму не нравится, что Дорофеевич порой называет его Артюхой. Какой он Артюха? Он – Артём Леонидович, хозяин. Никакого уважения! И сделать ничего нельзя! Терпи! Уж он такой Дорофеевич, приспосабливайся! Вот сидит косится на него недовольно Артём — большой, круглый, медведистый. Вразвалку ходит. Идёт половицы гнутся. Дай ему старинный топор или молот, нахлобучь на стриженую голову шелом, и выйдет тогда из Дорофеевича заправский гном! Настоящий Гимли! Глаз не отвести! И силы-то в нём немерено! Свой дом ставил — никого не позвал. Сам, говорят, брёвна на стопу закидывал! И всё-то у него в доме плотное, кряжистое, по руке его. И мать, и жена Малаша то и дело бранятся: ни топор, ни лопату взять нельзя — оборвёшь руки! «На что такое делаешь?» – а Дорофеевич только плечами пожмёт да усмехнётся: да чтоб не украли! Хоть кол на голове теши! И всё над Артёмом посмеивается, поваркивает, наставляет, ровно отец родной.

Не хотел Дорофеевич к нему в мастера идти. Ни в какую. И как ни уговаривал, как ни зав-

лекал Артём, ничего не выходило сперва. Дорофеевич и сам не понимал своего упрямства, ворчал, будто себя оправдывая: «Горожане! Водись с имя! Ведь ничего делать не умеют, а гонору, гонору!.. Болтать-то все горазды».

А вот как признался Артём, что хочет дом срубить, как в старину рубили, топориком одним, чтоб стены вгладь были тёсаны, чтоб на кровле тёс в три карты был положен, а самая верхняя к небу доска — продорожена да просмолена. А посредь избы печка русская, полати широкие, тогда заворочался в своей берлоге Дорофеевич, загорелся любопытством его глаз.

- А чего ко мне-то пришёл? Ведь есть у нас и иные мастера, не хуже: хоть Сумкина возьми, хоть Некрасова...
- Да был я у них, сказал Артём, да только они уверили, что лучше Егора Дорофеевича по этой части нет!
- Ну уж... опустил голову Дорофеевич. Добро! Лес-от навёз? Хватит на дом-от?
  - Хватит! твёрдо сказал Артём.
- Хватит!.. Да только сдаётся мне, что лес-от твой не больно-то и пойдёт! Тонок да сбежист<sup>6</sup>. На окладное выйдет чего?
- Мне Костя Серебряков на окладное дал четыре листвы<sup>7</sup>. Костю знаете, наверно?
- Знаю плута старого! Доверия у меня к нему нет. На Коновязи сено ставили, так он у меня нет-нет да и прихватит травы на два-три прокоса. Колышка, видите ли, не заметил! А я такую стожарину вбил, в мужичий рост, за версту видно. Раньше-то не везде косить можно было всё колхозное. Потому и ставили где придётся не зароды, а стожки. Тоненькие! Порой спросят, а большой ли у тебя стожок? Отвечаешь: на три-четыре зубчика! Ох, и вредный был этот Коська! Раз на меня осерчал, так сыроегу в стожок ко мне подложил ну и сгноилось у меня полстожка! Знаю я, всучил тебе какую-нибудь деревину ледящую!
- Так вы соглашаетесь? не веря в удачу, обрадовался Артём.
- Ничего я не соглашаюсь... Завтра в шесть приду. Погляжу, что там у тебя. А сейчас мне некогда: вставышки вставить надо у Татьяны коза стекло на назьму выставила...

И пришёл Егор Дорофеевич в шесть утра, застучал, загремел воротами. И Артём не сразу и понял, кто стучит и зачем? А Дорофеевич ворчал:

 Деревня уже живёт, печки топят, а они спят! Как же, построишь тут дом! Избушечку бы им какую скорестить! Лубяную, как у зайца!

И как ни просила Лена, жена Артёма, позавтракать с ними, не пошёл Дорофеевич, бродил сердито среди окорённого леса, подсовывал аншпуг под дерева, качал сокрушённо лобастой головою, так что сердце Артёма не выдержало, выскочил он из дома, дожёвывая кусок, и спросил, плохо скрывая тревогу:

- Не годится, да?
- Болонистого<sup>8</sup> много! Сам выбирал?
- И сам, и выбирали.
- Ну, оно и видно! Хорошего лесу нынче трудно найти. С домиком этим что будешь делать?
  - С каким домиком?
  - С тем, где живёшь ныне.
- А! Распятнать $^9$  бы его, разобрать да прирубить к новому. Лене жалко, это ведь её бабушки дом.
- Старое к новому прирубать трудно. На своё выпятит! Тут надо с умом подойти. Ну, посидим, отдохнём, что ли!

И первым широко уселся на бревно, положил топор на заплатанные колени, усмехнулся, повёл глазами на растерянного Артёма:

Что, хозяин, спать не дали? Ладно, не трусь! Поглядим, что получится!

Вот так и началось с того часу строительство Артёминого дома. И всё запомнилось Артёму в тот день: и колеи проломленной верховой дороги, и белое небо, готовое пролиться не то снегом, не то дождём, тополя, сырые, жёлтые, пощёлкивающие на ветру взъерошенными ветвями. И радостно, даже стыдно было в тот час Артёму: в деревне-то в каждом окошке глаза, весь век под приглядом, и, верно, уж каждый знает, куда в такую рань брёл Дорофеевич и зачем. Да Артёму дом строить — тесно ведь в бабушкиной клетушке! Молодые! Охота широко пожить!...

Они успели одеть стамяки<sup>10</sup> на шипы, расклинить, вставить сверху подушку, когда приехал Вениамин, длинный, тощий, он выскочил из машины, выпрямился, раскрылся, словно складной перочинный ножичек. Мотнул хвос-

том жиденьких волос, перетянутых резинкой. И Дорофеевич, обухом топора выщёлкивая клин и перехватывая его в проёме дверей, взглянул удивлённо, втащил гостя за руку в сени — через порог не здороваются! — и стал разглядывать насмешливо и беззастенчиво. Артём сиял начищенным пятаком.

 У меня в переду две избы, — говорил он радостным, взволнованным голосом, таша друга за рукав. – Взгляни только, какие потолки высокие, как в городе! Вот думают, дураки, что раз деревня, то всё низко и тесно! Неправда! Тут по всем деревням высоко и просторно, да ещё на горе живём! А там у меня две комнаты, они поменьше, и кухня настоящая, деревенская, с русской печкой. А через год бабушкину прирубим... Горенку, Дорофеевич, да? Осталось ещё голландку сложить или шведку, и всё – заезжай! А стенки? А мы так и оставим – они вгладь тёсаны. Эту я сам тесал, а другую – Егор Дорофеевич. Он у меня за мастера! А проводку погляди! — мы на ролики фарфоровые натянули, а сам шнур-то каков! Как в старину, в матерчатой рубашке! Ролики мы на старом телятнике выглядели — его на дрова взялись для библиотеки пилить. Лена их дня три от грязи отмачивала. А зато теперь беленькие, сияют! А посмотри, какие выключатели, тоже старинные! Тугие! Попробуй пересиль пружинку!

Вениамин ходил, неуверенно улыбаясь, осторожно проводил ладонью — как на ощупь — по гладко вытесанным стенам, щёлкал выключателем, глядел в широкое итальянское окно на заречный луг, залитый бледным солнцем, и не мог и слова вставить — так радовался Артём. Дорофеевичу надоело бродить следом. Он, напустив на себя важный вид, воссел посреди избы, достал заветный точильный камешек и принялся править топор.

Надолго ли приехал, Веня? – наконец крикнул он, будто век его знал.

Вениамин, услышав, пошёл на голос, встал удивлённо в дверях, успев где-то перемазаться в пакле и побелке. Очёчечки его посверкивали. Штанишки-дудочки вытянулись на коленях.

- А я с неделю поживу, а что?
- У нас на Пинеге так, строго, со значением, стал объяснять Дорофеевич, приехал так три дня гость! А потом всё, уже постоян-

ный житель. Работы у Артёма много, а через две недели ему на вахту снова, в лес. Понимаешь?

- Понимаю, кивнул Вениамин.
- А раз понимаешь, то уж какой ты гость? Сразу производим тебя в постоянного жителя! Кирпич надо почистить. Глины довезти. Сарай дошить. Шведку сложить. Ну, печку-то я сам складу ваше дело в подмастерьях побегать, кирпич подавать, глину мешать, мою воркотню терпеть. Задача, Вениамин, ясна?
- Да я понимаю, покраснел Вениамин, да за тем и ехал...
- Дорофеевич! Ну какая сегодня работа? Веня с дороги! Отдохнуть бы надо! Завтра сделаем.
- Сегодня суббота, фиг не работа! Была неделя чего глядели? пробурчал Дорофеевич, поднялся, широко отряхнул свои штаны, брови насупил. Так, значит? Лена у тебя до какого часу сегодня в школе? До двенадцати. Сейчас десять. За два часа, ребята, кирпич почистим, а потом гуляйте, пейте, баню топите. Мне спасибо скажете, когда печь ложить начнём!

Через полчаса Вениамин, облачённый в широкие штаны, подпоясанный верёвкой, скрёб кирпичи, засучив рукава. Рядом пыхтел Артём. Дорофеевич, довольный, что всех заставил работать, снова восседал на любимом ящике, поглядывая свысока на молодых мужиков: уж такими они казались несмышлёными, ну ровно дети малые! Отпусти таких — по миру пойдут!

– Глина старая, стоялая в печи, нет её крепче! Уж она знает, что ей делать надо! Учить её не надобно! Водой её зальём, она водой возьмётся, и сносу не будет печке! Ничего ей, парни, не сделается! Лежаночку бы ещё к печи приделать. Дым понизу пойдёт, накалит кирпичи, о-о! То-то будет твоей Лене лежать-полёживать! А детишечкам-то играть! Будете меня вспоминать, старого! Будете радоваться! Володька-то мой не хочет такого счастья, не ценит! А потом поздно будет... – Дорофеевич вздыхает, вертит в руках старенький мастерок. Ручка у мастерка из лосиного рога, а сам он старенький, зеркальце-то всё в бороздках! – Я ведь, парни, сызмальства к печи был приставлен. Был у нас на деревне Лазарь. Ох, как он печки ложил! Как ложил! Мне до него далеко! Мы мальчишками пойдём после школы на его работу глядеть, а он смеётся: сыкайте, ребята, в мою глину – она скорей закиснет, прочнее камня в печи будет! А мы и рады стараться! Напрудим, что ты! Я с тем Лазарем столько печей поставил, разных! В Шатрове даже двухэтажные ложили! Ух, кубатуру гнали! Хороший был печник! Мастер! Я от него многое взял. Мастерком вот этим Лазарь работал, в больницу поехал — мне передал...

Хорошо сидеть. А что сарай недошит, так это ещё лучше! Вся Пинега с горы как на ладошке. Тянется, серебрится. И что-то дивное, тихое слышится в воздухе: птица — не птица, ветер — не ветер, а ровно дудочка играет, посипливает. Церковка за рекой махонькая. В жестяном куполе солнышко отражается, будто кто-то зайчика зеркальцем пускает. Белый, чистый, ровный, дрожит свет над Пинегой, блестит в беспокойной волне. И замирает сердце, и неведомо, к чему стремится... Загляделся Дорофеевич на дивное, да и Артём работу отставил, и только Венька шуршит, скребёт топориком, плечи топорщит.

- Вень, призывает Артём, погляди! Хорошо-то как у нас! Я, как с Ленкой сюда приехал домик бабушкин проведать, как увидал с горы такое, голова от счастья кругом пошла! А Ленка подметила и говорит: давай сюда переедем, дом есть, работа мне в школе есть, всё своё будет, родное!...
- Родное... тянет Дорофеевич. Что, прикипел к деревне?
- Одеревенился! смеётся Артём, потягивается туго, раскидывает широко сильные, крепкие руки, выходит на улицу и глядит, глядит, улыбаясь, щурится на бледное солнце. Где-то журавли очнулись, окликнули кого-то жалобно, даже Венька вздрогнул, поправил грязным пальцем запылённые очёчки и тоже высунул голову из сарая. А журавли вышли откуда-то, побрели по берегу, загребая песок лапами, и снова выкрикнули жалобно, больно.
  - Я за биноклем сбегаю! вскинулся Артём.
- Да что ты разглядишь в бинокль-то? остудил Дорофеевич. — У тебя ж бельмо в правом окуляре! И отсюда хорошо видно!

А журавли брели, брели и снова скрылись за горкой, но оставили по себе что-то неуловимое — так запекло, затомилось сердце, что и не высказать!

Отмахнулся Дорофеевич от грустных дум, посмотрел на старательного Веньку и спросил:

- Веня! А ты кем работаешь?
- Я? Венька опять вздрогнул, сморщил нос, очёчки подпрыгнули на узкой переносице. - Я это... инженером ИТ.
  - А чего это такое?
- Информационные технологии. Компьютеры.
- Интернет, значит, кивнул головой Дорофеевич. – Хорошая у тебя работёнка, не пыльная.
- Ну да, соглашается Венька, не пыльная! – и тащит к себе новый кирпич, примеривается и улыбается грустной, будто виноватой улыбкой.

Через час они мылись поточной водой из ржавой бочки. Вода была тёплой, зеленоватой и крепко пахла тиной и чёрной прошлогодней листвой. На отопрелой земле белели сосновые щепки, лезла крапива, ещё мягкая и не жгучая. Дорофеевич мешковиной докрасна растёр руки, приладил в натопорницу своё трудовое оружие, оправился, огляделся, всё запоминая:

- Ну, ладно, парни, пойду я! А вы тут гуляйте, пейте!
  - Так, может, и ты с нами? спросил Артём.
  - Нет, у вас свои разговоры!

И зашагал широко, вразвалку. Радуясь, что вдалеке уже раздёрнулось небо — ветер растряс тучи — и ясное, синее, чистое смотрело, как прежде, в глаза. Любил Дорофеевич эти первые майские дни, дышал глубоко, полной грудью, и всё будто не мог никак надышаться. Давно уже пахло первой зелёной травой, и птицы пели вокруг радостно и тоненько, переливались стеклянными бубенчиками, и не верилось сердцу, что зима позади, что вот и весна на исходе, что дожили все до тепла.

Дошагал до дому, глянул — а крыльцо добела дресвой 11 нашоркано, ступить боязно. Любила его Малаша по-старинному крыльцо да сенцы дресвой шоркать, протирать мягким вехтем12. Разул он сапоги, поставил подле нижней ступеньки, пошёл в избу. Покой дорогой! Чего ещё надо? Малаша вышла бесшумно, занавеска едва колыхнулась.

- Мама спит. Обедать будешь?
- Поем немного. Много-то не накладывай.
  Не промялся ещё.

Переоделся, погремел, крадучись, рукомойником, сел к столу, в окно заглянул. Далеко-далеко светлой, серебряной полоской светилась отсюда Пинега. Вода большая, в гору пошла — болота заоттаивали. День-два — и шагнёт Пинега за берега, зашумит, подступит под самую гору, напустит ветра холодного, серого, и будет встряхивать дом, как бабушкин щепной короб, полетят за окном белые мухи.

- Володька-то когда приедет, Малаша? спросил он про сына. Два лета уж не казался.
- Не знаю, Малаша вздохнула и села напротив, дела у него, всё дела... неделю уж не звонил. Хлеба-то побольше бери: он с Кевролы<sup>13</sup>, вкусный... Устал, поди, с этим домом-то? Будто свой строишь... Когда Артём на вахте, мог бы и не ходить.
- А что делать, Малаша? Своё-то большое всё переделано. Сейчас до полей печку сложу, и всё. Дальше он сам справится! К нему, Малаша, друг приехал, на неделю, что ли. Поможет чем быстрей и закончим.
- Хорошо бы! Я и не вижу тебя совсем. Всё там, на своей Горушке.
- А я привык, Малаша, спать ложусь и всё думаю: вот это сделать надо, вот это недоделано. Словно не Артёмке, а Володьке дом строю. Передать бы Володьке всё, что умею. Да где там? Хоть Артёмка-то выучится!

После обеда лёг Дорофеевич на диван, долго лежал, закинув руки за голову. Малаша вязала рядом, шевелились спицы, поблёскивали.

- Тихо море...
- Что такое шепчешь?
- Так подумалось: тихо море, отозвался Дорофеевич. В молодости-то всё из дому бежишь... Куда, зачем? А года выйдут нет ничего лучше родного дома.

Малаша отложила вязание, оперлась локоточками на колени.

- Старый ты стал у меня, Егорушка! И у глаз морщинки, и у носа. А на лбу-то вон какие дороги! Куда ходил, куда ездил? Приедет Володька, не томись!
  - Помру, так сразу приедет!
  - Не помрёшь ты у меня! Чего тебе поми-

рать-то? Вот удумал! Устал ты просто, повеселиться тебе надо. Давай к сватам съездим — с февраля никуда не выезжали!

- Съездим! он повернулся на бок, сунул руку ковшичком под голову. Меня Артём звал, сходить, что ли, повеселиться?
- Да нужен ты им! У них свои разговоры, своя жизнь! А у нас — своя.

Малаша вздохнула, и снова легко и тихо заходили спицы в её пальцах. Мама за стенкой проснулась, словно почувствовала, что Егор дома.

- Егорушка!

Дорофеевич пришёл, сел в ноги.

- Что там на улице, Егорушка?
- Пинега вот-вот за берега выйдет, сиверко задует. А пока всё шелоник, тепло, мягко...
- Ломает меня всю, спать весь день хочется. Дедушко-покойничек снился. Говорит, хочешь сухариков паклёных? Беленькие! А я не взяла, отказалася. Покойнички-то к перемене погоды снятся. Пойдёшь ли ты ещё куда?
  - Может, до Артёма дойду.

И ведь собрался! Брюки свежие надел со стрелочками, рубаху белую, курточку с кармашками и бутылочку в карман сунул. С пустыми руками не ходят! Малаша только головой покачала:

– Не броди допоздна-то, не мешай людям!

И снова зашагал Егор Дорофеевич. Солнце уже присаживалось. Чисто, ни облачка. Яркая, белая стрелка пролетающего самолётика скользила в вечереющем небе. Он всегда смотрел на самолёты с какой-то непонятной ему грустью. Странное чувство утраты близкого, родного мучило его сердце. Он задумался и не заметил, как подошёл к дому.

Лена ему удивилась, неуверенно оглянулась за плечо и крикнула:

— Артём! Егор Дорофеевич чего-то к нам пришёл!

Артём, весёлый, раскрасневшийся, румяна во всю щёку, тоже удивился, мелькнуло что-то в глазах у него досадливое, неловкое, но тут же упряталось.

— А мы и не ждали тебя, Егор Дорофеевич! Проходи давай, проходи. О! Ты ещё и с бутылочкой? — и засуетился. — Давай, Лена, тарел-

ку давай! Вот сюда садись, на скамейку, к печи поближе! Мастер! Мастера на почётное место!

Дорофеевич смутился, но отступать было некуда. Вениамин улыбался, подперев кулаком голову. Смотрел во все глаза на Дорофеевича, будто впервые увидал. Но появились стопка, тарелка, ложка, вилка, подпихнули картошку, рыбу в глиняной ладочке. И Артём весело, с напускным задором, закричал на всю избу:

 А ну за мастера! За вновь прибывшего! Айла! Стоя!

И они выпили, перекинулись несколькими словами и замолчали. Не вязалось что-то. Занавеска на окне пошевеливалась, отходила под ветром, и густые весенние сумерки заглядывали в кухню. Дорофеевичу хотелось что-то сказать весёлое, беззаботное, озорное, чтобы все засмеялись, задвигались. Вспомнился знакомый печник, настолько маленький, что смог уместиться внутри русской печи - чинить свод, как испугался хозяин, когда тот, перемазанный глиной, высунулся вдруг наружу. Но рассказать не получилось...

 Вот я и думаю, – неожиданно и раздражённо сказал Вениамин, откидываясь в кресле и сцепляя длинные белые пальцы.

Дорофеевич понял, что своим нечаянным приходом помешал разговору, и теперь Вениамин, видимо, решил продолжить прерванное.

- ...Вот и думаю, ребята, что сознание в нашем мире первично. Я повторю! Здесь кое-кто не слышал! Наше сознание – великая сила, она творит жизнь. Ребятки! Всё, что мы видим и чувствуем, существует только благодаря нашему сознанию. А если что-то не видишь, не ощущаешь, значит, этого нет! Однозначно, ребята, этого не существует!
  - Как это не существует? удивилась Лена.
- Просто! Если я тебя не вижу, значит, тебя нет! Предмет существует, Лена, понимаешь, лишь тогда, когда есть наблюдатель! То есть я!
  - A где же я тогда? Ерунда какая-то!
- Но как тебе объяснить? Когда я что-то не вижу, значит, это находится в пределах вероятности. По сути, всё для меня находится в зоне вероятности: и ты, Артём, и твоя Лена, и тем более ваш мастер, с которым я знаком, может быть, часа три! Наш мир, он – фанта-

зия, иллюзия, он - вероятность. Он - переплетение тысячи вариантов!

Вениамин всплеснул руками, налил себе полную рюмку водки.

- Что? За квантовую физику?
- Это всё очень страшно и не похоже на правду, – сказала Лена. – Ну как же это? Артём! — она беспомощно посмотрела на мужа. — Что ты молчишь?
- А я не знаю, что сказать! Венька всегда у нас такой. С идеями! Но, по-моему, интересно!
- А то! Конечно, интересно! Окружающий мир — это фантазия, рождаемая нашим разумом! За квантовой физикой будущее. Придёт время, и сознание каждого человека можно будет сохранять и обрабатывать. Записывать на другие носители. Ведь всё, что у нас находится здесь, — Вениамин самодовольно постучал себя по лбу, – это информация, обычная информация, накопленная на квантовом уровне. Когда внутренние органы человека перестанут функционировать, сознание его просто переместят на новый носитель, оцифруют. Хотел бы я взглянуть на эту флешку!
- А душа? спросила Лена. Душа тоже перепишется? Оцифруется? С душой-то что будет? В чём же тогда смысл жизни, Веня, если всё что угодно можно перезаписать, переобработать? Совершил дурное – не беда! Перезапишем! Поправим! Отформатируем!
- Какой смысл жизни? О чём? усмехнулся Вениамин. – О да, конечно! От этого нельзя отказаться! Артём! А в чём твой смысл жизни? Одеревениться? Дом построить, детей нарожать?
- А что в этом плохого? сказал Артём. Я никогда не задумывался, это правда! Если человек счастлив, то о смысле жизни ему некогда думать! А я как раз счастлив! Лена есть у меня! И дом мы построим, и детей мы родим, и всё у нас будет как положено.
- А вот пусть Егор Дорофеевич скажет, человек с большим жизненным опытом! - не унимался Вениамин. — Смысл жизни в чём? Печки ложить, что ли?

Дорофеевич угрюмо посмотрел на Вениамина, потом всей тяжестью навалился на стол, сложив на столешнице руки.

А кто его знает? Вот тебе сразу возьми да



положи! У каждого человека свой смысл, своё понимание. Тут главное — как жизнь прожить! А прожить её надо по совести, по справедливости, так мне дед говорил. И ещё по любви.

- А вы сами-то по совести живёте?
- А об этом людей спроси! За себя я говорить не булу.
- Толстовец! Ей-богу, толстовец! захохотал Вениамин, расплёскивая водку. Не перевелись ещё!
- А пусть и толстовец! нахмурился Дорофеевич. Каким уродился! Зато крепко на ногах стою. Не сшибёшь!

Настроение у него испортилось, хотелось встать, хлопнуть дверью, но жаль было Лену и Артёма.

 Давай, хозяин, наливай! – кивнул он на бутылку. – За любовь выпьем!

И первым опростал стопку, перевернул вверх донышком и посмотрел на Вениамина.

— Значит, я тебя правильно понял, парень? Наш мир — это, по-твоему, фантазия, игра такая интересная. Мы, дураки, просто думаем, что всё вокруг нас настоящее, а на самом-то деле ничего нет? Так, да? У меня мать полгода лежит, мучается — это что, моя фантазия? Мой дед с войны на деревянной ноге прискакал, в танке горел — выдумка? Артём с Леной дом строят, жизнь свою строят, жить хотят по-человечески — тоже игра? Нет, братан, у тебя правды! А так, похвальба одна!

Дорофеевич резко поднялся, будто оттолкнулся.

 Ладно! Пошёл я. Правду моя Малаша сказала...

Тяжело ступая, вышел из избы. Вечер тут же спасительно распахнулся перед ним. Лена выскочила следом.

- Егор Дорофеевич! Что вы?
- Ничего, Лена! он повернулся из темноты на её голос и увидел маленькую, худенькую, в светлом платьице. Зябко обняв плечи, она стояла на освещённой ступеньке.
- Не бери в голову, Лена! Это ничего! Меня простите приволокся, помешал. Что я понимаю? Я в понедельник приду печку ложить надо, а то потом некогда будет поля начнутся. Не зябни, иди, простынешь ещё!

И зашагал тяжело, враскачку, как умел всег-

да твёрдо и неторопливо шагать. Небо над головой сияло каким-то скрытым печальным светом. Мелкие звёзды лучились над белеющим полем. Дед его, бывало, присказывал: «Ты погляди, Егорушка! Одна звёздочка ярче, другая тускнее, третья едва приметнее, но все они звёзды. Так и люди, Егорушка, все люди. Ты не дели их...»

В сумерках пели птицы, перелётывали вокруг него, маленькие, непоседливые. Подымались стайкой, будто сеточка вскидывалась, и сеточкой падали впереди него, вертелись в траве, поджидая. И пели-пели. Тепло было, мягко.

Малашу он увидал сразу, как только завернул во двор. Она сидела на лавочке у низкой избы, белея платочком. Он подошёл и сел рядом. Она прижалась к его горячему плечу и спросила:

- Ну что? Нагулялся, Дорофеевич?
- Нагулялся.
- А что такой неподержанный пришёл?
- A то и хорошо, что не поволочали!
- Ну, значит, невостребованный был! и засмеялась шутке, просунула руку под его тяжёлый локоть. Он поймал её в свою широкую, бездонную ладонь и бережно сжал.
  - Давно сидишь?
  - Давно. Я тебя ждала-ждала, соскучилась.

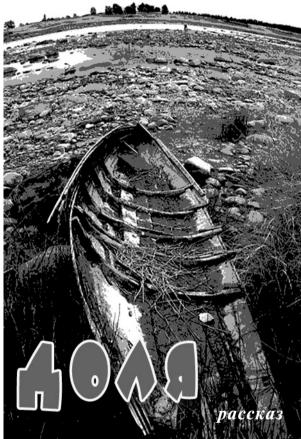
А тёплый ветер шёл по деревне, мотались взъерошенные былинки травы. Дребезжало стёклышко-приставышек в оконной раме. И пели, пели для них небесные птицы.











Го звали Доля Иванович. Доля — это маленькое, уменьшённое имя. Большого имени он не любил, не откликался и хмурил брови. За спиной его называли Курмушкой от слова «курма». Курма — это ловушка для рыбы, наподобие известной вёрши, сплетённой из ивовых прутьев. За что его так называли, по какой причине, уж никто не знает: Курма и Курма. Так повелось: и отец его был Курма, и дед, и прадед. Все они были знатные рыболовы — рыба на них так и шла.

Сидит наш Доля Иванович на берегу. И удочка-то у него, помню, — стволик еловый, поплавок — пёрышко, и вот — на тебе! — таскает ельцов одного за другим. А ты рядом сидишь, и у тебя не ловится! Шла на него рыба...

- Доля! говорили ему. Секрет-то скажи!
- А нет секрета, отвечал Доля. Я и сам не знаю.

Поднимал удивлённо свои выцветшие брови, снимал вязаную шапочку и принимал водку. На рыбалке-то грех не выпить! Тянул к себе корочку хлеба, жевал долго и вдумчиво, шевеля густыми серенькими усами. Всё в нём было какое-то серенькое, простое: и эта вязаная шапочка с китайским иероглифом, и штанишки, вытянутые на острых коленках, и курточка, вылинявшая не под одним речным солнцем. Только пуговки светились медной вызолоченной проволочкой.

— Я пуговки на медную проволочку сажаю — не потеряешь, — объяснял Доля. — Зацепишь где-нибудь — не оборвётся!

Улыбался доверчиво, отводил полу и показывал, как проволочка накручена. И глаза его светились, ясные, светлые. Да у наших северян, почитай, у всех такие глаза: серые, синие, зелёные, — то ли от нашего неба бесконечного, то ли от леса бескрайнего, а может, на снег мы глядим подолгу да на воду, быструю, звонкую.

Ещё скажу, что он, Доля, был плотный, жилистый, как курма, как-то на раз жёстко и крепко схваченный, скрученный, как поплавок берестяной, которому и изводу, как известно, нет.

Уж рыбалка была не рыбалка, если рядом не было Доли Ивановича. Вот как сейчас вижу, сидит он у костра, подвернув под себя длинные ноги, опирается плечом по привычке то ли на дерево, то ли на пень, тянет из солдатской кружки водку, смотрит на реку да ведёт какую-нибудь историю — неспешно так, не торопясь, а мужики всё равно посмеиваются.

— Отец-то у меня крепок был, хоть на фронте и контузило. Так-то ничего, если только не иззябнет весь. А на реке-то как не иззябнуть? А он — перевозчиком. После войны всю жизнь перевозчиком робил. И ведь хорошо: всегда с рыбой, всегда река под боком. Вот повёз он девку за две реки. Ехать-то долго, моторчик слабенький. Помните такой — «Стрелой» назывался? Вот едут, ветер в лицо — он и озяб! Глаз и задёргался, спасу нет! А дело — к вечеру, солнце — за гору. Девка-то и испугалась. Сидит в лодке ни жива ни мертва,

молится, только бы живой доехать! Это она моего бати боится! А доехали, как выскочит, как побежит в гору! Только камушки сыплются! «Не туда! — кричит батя. — Тропинка-то левей!» А она и не слышит!

Домой прибежала, матери жалуется:

- Я с мужиком ехала!.. Длинный, страшный! Всю дорогу мне подмигивал!.. Задумал, наверное, не лело?!
- Что ты! смеётся её матерь. Это ж Курма! Перевозчик верстеньевский. На войне его миной контузило, вот он с тех пор и подмигивает!

Смеются мужики. Улыбается Доля Иванович, щурится от речного солнца, отца своего вспоминает.

Не знаю, как в городе, а у нас так: прошлая война никуда от нас не уходит, живёт в сердце каждом. Выпьют рюмку мужики — нет-нет и вспомнят дедов своих...

Хорошо лежать у костра. Дым, горький, сладкий, как полой запахнёт берег и тянется вдоль рогаток. Блестят на солнце удилища. А у Доли — еловое, серенькое. Он его кирпичом вытягивал: подвесил на стену вершинкой вниз, а к вершинке кирпич подвязал. Добрая вышла удочка!

Ходят под водой, густой, жёлтой, сиги жирные, и ты ждёшь, посматриваешь, а вдруг плеснёт о берег, завьётся вода воронкою, изогнётся удилище, задёргается.

Нет, тихо! Ветер ходит над ивами. Поплавки едва на леске подрагивают. Трава прошлогодняя шепчется, кланяется. На севере туча, тёмная, железистая, ползёт к Пинеге, снег на хвосте ташит.

 Не дойдёт! — говорит Доля Иванович. — Река отведёт.

Наклоняется и ворошит в костре золотые сучья. Вспыхивают они и сорят золотыми искрами. Летит белый пепел, трусит на колени, на водку в кружках. Лодка вдалеке о берег тукается, блестит мокрым алюминием, синими крыльями. Мы пьём из кружек, едим хлеб, обсыпанный ивовым пеплом, яйцо чистим. Белые скорлупки, как снег, лежат на траве.

Доля Иванович достаёт из котелка щучью голову:

Я её сам разберу, мужики, остальное – вам.
 Разбирает щучью голову, каждую косточку

обсасывает. Шевелятся его густые усы, посверкивают рыбьей чешуйкой.

- Щука рыба не простая: у неё в голове три креста имеются, один большой, католический, два поменьше.
- Да не может быть, говорит, не веря, Саша, но всё же подаётся вперёд посмотреть.
- А вот и имеются! улыбается хитро Доля Иванович. Сейчас покажу!

Он выуживает тонкую косточку, обжёвывает её и протягивает Саше:

 На, глянь! Фома неверующий! Видишь, по концам кружочки? Крест католический!

Саша берёт тонкую, почти прозрачную косточку, вертит, смотрит на просвет: и вправду, на крест похожа! Идёт косточка по рукам, каждый поцарапает её ногтем, отведёт руку, хмыкнет.

- Доля! Сам придумал?
- Зачем сам? Природа придумала. Вот теперь поняли, отчего щука самая хитрая, самая живучая? Три креста у неё в голове, как три жизни.
  - Да откуда ты узнал?
- Моему деду его дед сказал. Вот такая загадка! Вам, молодым, и разгадывать.

Улыбается довольный Доля Иванович, нравится ему видеть изумление и недоверие в глазах мужиков, отпивает глоточек водки, морщится, а потом показывает ещё два крестика, поменьше.

- Ну, вот этот на крестик мало похож, говорит недоверчивый Саша.
- Крестики разные бывают, поясняет Доля Иванович. Есть и такие, которые листиками называются. Вот этот на листик и похож. У каждой щуки свои крестики в голове. Одинаковых не найдёшь, мне не попадались...

Доля Иванович встаёт, отряхает штаны от сору и листьев.

Пойду, донки проверю!

И идёт, покачиваясь, долгий, нескладный, подныривает под ветки и к воде спускается. Земля под ивами сырая, глубокая. По всему берегу наши следы чернеются. Из проследий<sup>14</sup> листья топорщатся, к сапогам льнут.

Наши мужики тоже возятся, вздыхают, но не идут: лень.

Солнце бледное, белое, как оловянное, светится над лесом, и по всей реке дорожка оловя-



нистая, вздрагивает, переливается, взблёскивает. И берег вдалеке, и трава-осота как полудой облиты. Быстро бежит река, полнится, ещё день — и за берег выйдет.

Я меняю наживку, ставлю белых короедов — в тёмной и густой, как мусёнка $^{15}$ , воде хорошо их видно. Закидываю донки, мою руки.

В метрах ста от меня Доля Иванович выпрямляется, долгий, светлый, как столб, облитый серебристым солнцем, раскачивает леску, как кадило, и сильно, и уверенно бросает. Грузило ныряет легко, без всплеска, как рыба, и на мгновенье тёмную под берегом воду тоненько и светло расчёркивает — это леска легла — и гаснет.

Я любуюсь Долей Ивановичем. До чего же удивительно это место: берег, ивы изломанные, луг бескрайний, гора с тропинкой, — всё-всё будто пропитано Долей Ивановичем, его простой, бесхитростной речной жизнью. Вот здесь он жжёт костёр, вот здесь примыкает лодку, этой дорожкой подымается в гору. В июле он берёт косу и окашивает свою тропинку, делая её широкой, просторной, как просека, и ходит по ней, раскачиваясь, загребая большими ладонями травяной воздух. Дышит он полной грудью, блестит весёлыми глазами. И ведь всегда на реке, какой бы ни была погода. Даже тогда, когда рвёт ветер, треплет воду, бьёт и толкает Долину лодку.

Мне кажется, что у Доли, как и у щуки, три креста в голове, три жизни — такой он весь жилистый, живучий, будто вековечный, будто просмолённая корабельная верёвка.

Доля Иванович приносит сигов. У них тёмные, зеленоватые спинки и гладкие серебристые бока.

- У меня там три доночки. Вот на каждой по рыбинке. Я подошёл, а они уж поплёскивают: что долго не шёл? Заждались! и смеётся.
- А у нас только водка поплёскивает! говорит немного обиженный Саша. Слово-то какое знаешь, Доля Иванович?
- Да известное слово: ловись, рыбка, большая да маленькая. Вот и весь сказ!

Он прячет сигов в кирзовую сумку, серую, протёртую, пахнущую особым рыбьим многолетним духом. «Так что закусывать не надо!» — говорят мужики. Наверно, с этой сумкой и отец его ходил, и дед. И вот досталась она по наслед-

ству Доле, и не расстаётся он с ней, даже ухаживает: вот заплатку новую на уголок приладил, пуговицу новенькую присадил.

«Ладная сумка, — думаю я, — на рыбу намоленная. Может, в этом всё и дело! Рыба у Доли на сумку идёт!»

Доля кивает, ласково смотрит на Сашу.

Понесёт сигов Доля не домой, а соседке — старухе одинокой, несчастной, высохшей, как старое, подержанное дерево. Примет она рыбинку, запечёт в глиняной ладочке полакомиться, дольёт кипяточку хлебушком помочить — вот и ладно, а не ладно, так не у нас одних! Храни тебя Бог, Долюшка!

Живёт Доля один. Сыновья выросли, далёко. Один на востоке, другой — на западе. А Доля в своей деревушке — посерединке. Сидит на своей лавочке, вдовствует. И не знаешь, тужит он или не тужит — всё улыбается... Одна радость — река под боком. Пойдёт на речку, сядет там на клочь 16 любимый, подопрёт спиной вербу старую и молчит, воду слушает. Я его таким молчащим не раз заставал. Где он в своих мыслях, бог ведает, тут ли, не тут. А подойдёшь, улыбнётся, потянется до хруста:

– Закури, браток, я хоть дымок понюхаю!

И станет рассказывать, как на камешнике хариуса видал: бегут себе вереницей, торопятся.

- Вынешь такого! У него пёрышки жёлтенькие, а сам он, если солнышко, весь голубым и осветится. Небо, что ль, отражается? Видал такого?
  - Да встречались такие, видал.
- Вот, произносит радостно Доля Иванович. И ты видал! и спрашивает, помолчав: Куда ловить ходишь?
  - На тоню Марьегорскую.
- Там хорошо было, вспоминает Доля Иванович. Боны да отбонки стояли. Вода тихая, вот и рыба держалась. Нынче не то... А то ведь неводом черпали. Дед бережным ходил. Отец на лодке загребал, а мы с Витюхой, племянником, невод ставили. С лодки его сымаешь, а он в воде сам до дна расправляется, стеной идёт. Витюха-то губу закусывал старался! Грузила-то, помню, старинные были, дедовские. Каменные. Камешки-то в мешочек зашивались... А до мотни дойдёшь, так надо матюгнуться, примета, прежде чем в воду кидать. Не матюгнёшься рыбы не будет! Я —



маленький, на отца оглянусь: можно? А отец хохочет: давай, Долька, не можно, а нужно! Вот так матюгаться и научился!

- Да ты ведь и не материшься! изумляюсь я.Ни разу от тебя не слыхал!
- А зачем? кивает Доля Иванович. Ни к чему это...

Выпрямляет затёкшую спину, вздыхает шумно, тянет носом мой папиросный дым. И весь он для меня как единое неделимое целое с этой вербой, берегом, далью речной и небом даже. Живёт в этом, и другого ему не надобно!

- Дед-то мой, Никола, с германской трубочку привёз, трофейную. Всё только её и курил. Говорил, насквозь просмолюсь — никакая болесть не пристанет. А совсем старый стал, рука-то у него и заотказывала, не хозяин стал правой руки – тряслась. Ложку ко рту, бывало, поднести не мог. Так я ему всё трубочку набивал, набью табачком, пальцем большим прижму, спичку зажгу, а уж раскурит-то он её сам. Сидит, пыхтит. Трубочка-то у него со свистом была: тихонечко так сипела. А я подле него, табачок нюхаю. А вот не закурил, не закурил ни разу... Я как-то удрал от него. Известное дело – улица! Сам набьёшь! А вернулся, ступенька-то вся табачком присыпана! Так, браток, стыдно стало... Сам-то я уж и немолодой, а вот порой так нет-нет да и подумается: посидеть бы с дедом на крылечке, табачок его понюхать, трубочку набить! Никакого счастья не надо... До сих пор стыдно, что удрал. Что за доля такая!
  - Жива трубочка-то? спросил я.
- Нет! Я её в руках до самой могилки нёс. С ним, с дедом, её и оставил. Так веришь ли, руки с неделю не мыл так они, пока трубочку нёс, дедовым табачком пропахли! Понюхаю да заплачу...

Хорошо сидеть с Долей Ивановичем, но идти вроде надо, а уходить не хочется — не отпускает что-то. Смотришь на воду, тихая она, быстрая, на перекате звонкая. Рыба из воды выглядывает, то поднимется, то опустится, и круги расходятся. У острова, под горой, вода паром курится. И сырцой оттуда тянет. Но мошкара столбом стоит, вьётся на солнце, и вода под берегом, будто пылью золотой шерстистой обсыпана, летит, летит мимо. И осота качается...

Знал я, что уезжаю скоро, день пока не определил, но уже заранее стал со всем прощаться. Вот и на тоню Марьегорскую вздумал ещё раз пойти, позагребать ногами сыпучий песок, погреметь белой известковой плиткой, поперешагивать через поваленные осины и занесённые ледоходом обкатанные ёлки, поприветствовать чаек да куликов. Далека Марьегорская тоня! Гле рекой идёшь, а гле лесом. И хорошо. и грустно. И в новое душа тянет, и со старым, прижившимся расставаться неохота. «Да ведь приеду, – думалось мне, – навещать буду. К Доле зайду, хлебушком городским порадую...» И в мыслях уже к нему шёл, стучался кольцом в затёкшую смолой дверь, шагал через опрятные холодные сени, радовался румяному солнцу на вытесанных стенах. Глядел, любуясь, на синь заоконную, на Долю Иваныча.

«Да приеду, чего там, приеду!» — радостно решалось во мне. Да не приехал, ни в этот год, ни в другой...

Лет двадцать пронеслось одним махом, пропелось, прогулялось, хотя нет-нет и вспоминал я рыбалки наши, деревеньку свою, где прожил счастливых восемь годов. И порой, засыпая, всё бродил в мыслях по её мягким и топким от дорожной пыли улочкам и будто въяве видел амбары, избы, рыжие от закатного солнца, луга в первой зелени, реку в огустевших сумерках. И Долю Ивановича вспоминал часто, но и иных помнил, а вот Долю Ивановича по-особенному и подробно так тот самый вечер, когда он мне про трубочку рассказывал.

А вышел на пенсию, махнул рукой — поеду! И в таком нетерпении собирался, будто на свидание спешил.

С поезда, как двадцать лет назад, на лодке поехал. И встречал меня Саша, поседевший, располневший, так что сразу я его и не признал, а угадал по лодке: «красная у меня лодка, моторчик серебряный!» Переваливаясь, косолапя, он шагнул ко мне, и мы обнялись, рассмеялись, бросили на уножье мой рюкзачишко и закурили для разговору.

Вкусная у тебя папироска на ветру! — похвалил Саша.

А я смотрел на него, будто заново узнавал, и удивлялся, что делает время, что оно делает! Где



тот высокий нескладный парнишка с копной жёстких, как стерня, волос? Каких рыб мы таскали с ним на Кулое! Какую водку жучили на островах! А голос-то...Голос-то тот же остался, нетерпеливый, взахлёб и будто бы недоверчивый.

Поезд отгремел по мосту, отзвенел, раскатился, но ещё долго за лесом погромыхивало, постанывало жалобно.

А мы уж мчались по Пинеге, и моторчик серебряный иностранный, не чета прежнему упрямому «Ветерку», звенел задорно и тонко. И что-то вдруг облегчилось в моём сердце, и радостное, знобящее нетерпение перед встречей с родным и знакомым вызывало даже нечто схожее с чувством боли и сожаления. Тихая вода журчала, рассыпала густые снежные брызги. Чайка летела почти вровень с нами, а потом, накреняясь, ушла в сторону. Облака дрожали в текучей голубизне, белые и пепельно-серые.

Я сидел на скамье боком, чтобы сразу видеть и Сашу, и близкий берег, и створ мерцающей реки. Я прикурил папиросу и передал Саше, и он кивнул, улыбаясь. Моторчик звенел, подрагивая. Я затянулся горько-сладким дымом.

Река дышала. Обрывистые берега населяли птицы. Кулики-перевозчики семенили на соломенных ножках. Кулики-сороки беспокойно переступали с лапки на лапку и покачивали красными навострёнными клювами. Ласточки роились, и стрекот, то приближающийся, то отлетающий в сторону, бежал неотрывно за нами. А облака вставали всё выше и выше. Тень от знакомой Красной горки опускалась на воду. Я подивился новому острову и передёрнул плечами, когда сырость ночных ручьёв перекрыла лентами реку.

Мотор зазвенел, лодка чуть накренилась, и мы, вычерчивая гибкую, серебристую дугу, вышли из тени на долгий плёс. И вот, вот моё Верстенье!

Школа на угоре, борок поредевший, и огонёк видать в чьей-то избушке.

Саша убавил газ, и лодка, подхваченная волной, выбросилась на косу. Мотор затих. И только волны тяжело зашлёпали слева и справа по песку. И Саша, покачиваясь, как в седле, сказал:

Всё, товарищ, приехали!

Мы поднялись в гору заросшим полем, вошли в сосновую рощу, и Саша, едва поспевая за

мной, вдруг остановился, перевёл дух и, указывая на старинную сосну, спросил:

– A её-то хоть помнишь?

Ну как не помнить нашу сосну! Я и сам с неё глаз не сводил. Огромная тяжёлая шапка, пусть и поредевшая от времени и снегов, раскачиваясь в полудрёме, плыла всё так же над нашими головами. И если, запрокинув голову, следить за нею, всегда казалось, что и ты плывёшь по бескрайнему небу. Распростёртые ветви едва рыжели новой зарёй, и, предчувствуя новое, перекликались ясно и звонко неприметные птицы.

- У неё под корнями и стаканчик был спрятан, вспомнил я. Лежит ли?
  - − А я и не убирал его, − откликнулся Саша.

Он неловко и грузно опустился на колени. Я присел рядом. Мы отгребли в сторону сосновые иглы, раздвинули чёрную, крепко пахнущую лежалой травой землю и в развилине корней нашли наш гранёный стаканчик. Саша вытряхнул на ладонь набившуюся землю, протёр полой рубахи тусклое зеленоватое стекло и спросил:

- Здесь? Или до дому дотянем?
- Давай здесь!

Мы уселись, вытянули ноги, чувствуя спиной ровное и неспешное дыхание родного дерева. Водка сразу приняла в себя запах хвои и земли. Мы выпили и минуты две сидели молча и, наверно, чувствовали одно и то же и думали об одном. И, быть может, нам на одно мгновение и показалось, что не было этих двадцати лет и мы по-прежнему молоды и сильны.

За соснами раскрывалось поле, за ним — стеною деревня с одиноким слезящимся огоньком. И непонятно было: то ли лампочка ещё горит, то ли заря в стекле отражается. Белая ночь была тихой и короткой, — тихой, если не считать перелётывающих птиц и далёкого урчания на Камышарских озёрах.

- А помнишь? спрашивал Саша.
- Помню! радостно откликался я, и сам, торопясь, будто что-то толкало в грудь, спрашивал: А ты помнишь?

А потом мы спрятали заветный стаканчик там же, среди корней, и пошли к дому.

- Чей там огонёк светится?
- Да Доли Иваныча! Всё не спится ему, отвечал Саша. Старый стал. Ветром шатает...

Дома, за угощением, я ещё раз напомнил про



\_\_\_

Долю. Мне не терпелось его увидеть: как он, что он, ловит ли рыбу свою?

- Да какая там рыба! усмехнулся Саша. Мало ветром его не сносит! Всё сына ждёт, боится только, что увезёт к себе. Просит: мне бы, ребятки, здесь помереть...
  - Да как же он один справляется?
- Дак ведь среди людей живёт! откликнулась Тоня, жена Саши. Чего не жить? Он ведь каждый день на речку ходит! Бредёт! Хоть часы по нему сверяй. Всё лодку свою чинит. Чинит-чинит, да что там чинить, чинщик нашёлся, когда там места живого нет! Только силушку зря растрачивает. Да ты его увидишь! Не спи долго!

Мне отвели девичью светёлку — дочка Саши давно перебралась в город. В комнатке было тихо. В печке ещё жили и шевелились угли.

— Листик-то я не закрывала, — заверила Тоня. — А угли-то большие были, калёные, крепкие, как камешки. Так и перекатывались. Это хорошо — погода будет ясная, солнце будет, а бывает, и подморозит! Спи, высыпайся! У нас хорошо спится.

А я и часу не спал. Едва золотая мгла проступила сквозь тёмные сосны, я уж шагал торопливо к реке и всё удивлялся, скорбя, той малости обжитой земли, что осталась в моём Верстенье. Тихий туман стекался к низине, переходя облаками с места на место, обнажая живую полоску синей воды. Я ускорял шаг. Но берег тут же запахивался, как нарочно, сырой полою, прошитой насквозь золотыми лучами.

За спиной, где-то выше меня, било горячее солнце, щебетали птицы, но здесь, в низине, под облаками, всё приглушалось туманом, всё было молчаливым и спокойным. И мне не хотелось ни о чём думать, не хотелось вспоминать ничего, не хотелось быть верным тому, что было со мной ещё пару дней назад. Есть только я, есть эти старые сосны, есть эта древняя, набитая тысячами ног тропинка. Ничего никуда не исчезало, не уходило, и я никуда не исчезал, не уезжал безвозвратно.

Я вышел к реке. Облако скатилось вниз по течению. Прошлогодняя трава сияла тяжёлыми крупными каплями. Рыжие ивы светились в зелёной дымке. Впереди меня перевёрнутой аркой блестел, как стекло, подвесной мост.

Я шёл вдоль кромки воды, проминая седучий

песок, и вдруг остановился: там, где был перевоз, от меня за мыском, раздалось тихое тук-тук. Потом смолкло и вновь наладилось: тук-тук и затихло. «Что это?» — подумалось мне. Я вслушался и, когда, потеряв терпение, снова тронулся с места, ясное, чистое тук-тук пронеслось над водой, будто кто-то постучал по дну деревянной бочки. «Да это же Доля Иванович лодку чинит!» — радостно догадался я.

Это был он, Доля Иванович. Всё такой же угластый, нескладный, он возился подле своей лодки, старой разбитой шитухи, такой же древней, как и он сам. Костистой рукой он прикладывал тряпочку, смазанную солидолом, к глубокой трещине в набое, раскладывал, расправлял, пошатываясь, будто бинтовал рану на теле своей лодки. Сверху, на тряпицу, накладывал полоску жести и, поддерживая её одеревенелыми пальцами, забивал скобку. Тук-тук неслось тогда над рекой. Пальцы не слушались, жестянка съезжала набок, и я, поторопившись, кинулся ему помочь. Он кивнул и будто бы не удивился моей подмоге, а, подцепив скобку, забил её лёгким и привычным ударом.

- Коротки полоски-те, посетовал он. –
  Внахлёст придётся. Стара лодка-та, вздохнул он. А всё одно жалко. Думаешь, ещё походит?
  - Походит, неуверенно сказал я.

Лодка была плоха, совсем негодна. Глубокие трещины рассекали доски, и навряд ли солидольная тряпица, прикрытая жестью, могла бы спасти от воды. Доля бережно погладил истёртый киль и улыбнулся:

— Такую хребтину ещё попробуй сломить! Что ему сделается? Походит. А на воду спустим, доски набухнут, — и ничего, побегает ещё годок.

Он повернулся ко мне, сел на лодку и вытянул, должно быть, больную ногу.

— Приехал, значит! Долго собирался! Сашка ещё на той неделе сказал, что приедешь. Туман-то, видал, какой был? Поднимался, поднимался, а потом бух на луг и — всё. Не будет дождя, не будет. Вот и поработать можно! Да-а... А я думал: не приедешь. Куда ехать-то? Всё у нас тут переменилось... Я вот лодку чиню. А чего чиню, не знаю. Жалко, пропадёт. Да такая-то кому сейчас нужна? Лодок больше не шьют у нас... — он вздохнул, пожевал бескровными, почти белыми губами. — Где Сашка-то твой?

**-**�

- В лесхоз уехал. Дела у него.
- A ты на рыбалку, значит?
- Ну да, ответил я. Ловится ли, Доля Иванович?
- Да есть ещё... Да какая мне теперь рыбалка? Я и удилище-то в руках не удержу, не держат пальцы-то, болят.

Он ссутулился, опустил руки на колени. Острые лопатки так и выперли углами из-под рубахи. Светило солнце. Но от реки шёл холод. Река была ровная, и холод от реки тоже был широкий и ровный. Я закурил папироску, покосился на молчащего Долю. Вода переливалась. Глазам было больно. Доля жмурился, но глаз не отводил. Слабая и грустная улыбка светилась на его губах. Река притягивала его, мучила и утешала. Я исподволь разглядывал его: как изменился он за эти годы, как иссохся весь. Понимает ли он, принимает ли сердцем свою горестную беспомошность? Мне неловко было от молчания и хотелось расшевелить Долю, рассказать что-то смешное, беззаботное о своей непутёвой городской жизни. Но я курил и смотрел на воду. Маленький куличок-перевозчик бегал по кромке берега, вздрагивал узеньким хвостиком и всё о чём-то спрашивал нас, вскрикивал.

Мост вдалеке заскрипел, закачался. Раздались весёлые и понарошку испуганные женские голоса. «Доля! Перевези!» — взлетело надречкой.

Доля вздрогнул и посмотрел в сторону моста. Я смял папиросную жёлтую гильзу и предложил:

- Давай помогу. Хоть заплатки твои подержу!
- Ну, давай! согласился с готовностью Доля. Зачерпнул лопаточкой солидол и густо промазал щелину в набое. Сверху-то тряпочку наложим, на неё заплатину, и ничего... Я ведь мелкую-то работу долго делать не могу пальцы не гнутся, ломить начинает... Хорошая раньше была лодка. Мне её тут на горе шили, в лесничестве. На телеге ко мне привезли. Беленькая, гладкая, серкой тянет. А привезли в аккурат, когда ты в города подался.

Доля закусил одну скобку губами, а другую, прицелившись, вогнал в жестяную заплатку.

— Больше трёх заплат я поставить и не могу! Думаешь-то, востро, а выходит-то пёстро! Это я так, над собой шучу. Глаза-то к работе льнут, а руки-то не те стали. Была у меня лодка разная:

зелёная, синяя, красная. Какая краска в магазине была, той и красил! Басу<sup>17</sup> наводил.

Я слушал Долю, и всё мне казалось, будто я с ним вчера расстался.

- А вот спустишь на воду, так поедешь куда? спросил я Долю.
- Ну-у, протянул Доля. На шесте разве и перепихнусь. Успеть бы только. Сын за мной, вилишь ли, приезжает. Вот летом ему отпуск дадуг, так и приедет. Только я ехать не хочу! Куда мне в город? В стену пустую пялиться? Здесь-то я хоть до речки дойду, а с горы-то нашей — ширь-то какая! Душа радуется! И всего будто праздника ждёшь. Вот думаешь, ледоход будет, зашумит, забурлит на реке. Праздник! Потом птицы прилетят. Журавли на лугу затанцуют. Гуси подтянутся. Золои водой заблестят. Сашка спросит: «Уток видал?» Он всегда у меня про уток спрашивает, где видал и сколько. Лиственница моя зазеленеет. Праздник! Летом окно откроешь, в ней шмели гудят. Много. Так и вьются. Который год! И думаешь, чего они так высоко залетают? Чего ещё душе надо? Таких праздников знаешь сколько у меня в год наберётся? Если я даже эту латку поставил, это ли не праздник, при моих-то руках? Эх, махнул рукой Доля, - мне вот посреди такого праздника и помереть не страшно!
  - Не страшно, повторил я и улыбнулся Доле.

Через час, проводив его до деревни, я шагал к Сашиному дому, моему пристанищу, и всё думал о словах Доли и о Долиной лодке.

«Зачем её чинить? — размышлял я. — Неужто он сам не понимает, не видит, что не выстоит она, потонет, не спасут её никакие заплатины. Зачем поддерживать эту видимость живого? Зачем тратить себя? Или здесь что-то другое, важное есть, непонятное мне? И я просто слеп, что не вижу, не чувствую этого? А может, он не лодку вовсе чинит, а жизнь свою пытается починить, вернуть её такой, как прежде была!»

К вечеру, как вернулся Саша, я сразу сказал ему:

- Мы же с тобой на Мурачиху собрались ехать. Давай и Долю возьмём с собой?
- Долю? удивился Саша. Снял куртку,
  расправил пятернёй вспотевшие волосы. А
  пусть прокатится! Чинник наш! Старое вспомнит!



И мы взяли Долю. Он вперёд нас успел тем утром к реке. Солнышко едва вывернулось, а он сидел, поджидая, на старом ящичке. И ведь как собрался: и курточка на нём брезентовая, и сапоги с длинными голяшками, шапочка вязаная. Удочка складная, из стекловолокна, лёгонькая, истёртая до белизны. И котомка его намоленная, на которую рыба идёт. Ну, с рыбой будем!

- Рано живёшь! похвалил, подходя, Саша.
  Доля вскинулся задремал, что ли? блеснул живыми, нетерпеливыми глазами:
  - Живу! Чего мне не жить?
- Курточка-то у тебя легковата! Застынешь, пока едем, покачал головой Саша. Я тебе, деда, из будки тулуп дам. Завернёшься, и как у Христа за пазухой!
- Тулуп так тулуп, согласился довольный Доля.

Загремела цепь. Мы спустили лодку. Сложили в носу нехитрый рыбацкий скарб, палатку, костровое, поближе к корме канистру с бензином, подвесили мотор, усадили посередине счастливого Долю. Я отпихнулся шестом, выводя лодку на глубину. И все наши звуки: плеск воды, шорох песка, бряканье — Саша надевал на мотор колпак — радостно и гулко покатились по реке. Белый туман раздвинулся и сомкнулся за нами, пряча берег.

И снова шелестела, рассыпая снежные брызги, вода, и мелкая нетерпеливая дрожь бежала по всей оснастке нашего судёнышка. Туман рвался, редел. Тугая волна вырастала за нами и, переливаясь сизым и белым, падала, перекатываясь, на близкий берег. Из кустов вывернулась взъерошенная жёлтая собака и, захлёбываясь звонким щенячьим лаем, метнулась догонять волну, кусая ускользающую пену.

Доля, кутаясь в тулуп, развернулся на лавочке и стал смотреть вперёд. Далеко в створе реки раскрывалось старое синее небо. И я видел, как он волновался, сжимал губы, в его запавших глазах то ли от волнения, то ли от ветра набухали слёзы. Белые руки, длинно выставившись из рукавов тулупа, цепко обхватили колени. Мне показалось, что он дрожит.

Река была бесконечной. Поворот, поворот и новый зелёный мысок, и мельница старая на ручеине. Мы молчали, и в этом однообразном

и бесконечном устремлении вперёд, в шелесте, в лодочной дрожи мы словно перестали ощущать себя, ощущать время. Мы растворялись в тумане, в реке, в берегах.

Саша, зажав локтем рукоятку мотора, сгорбился, спрятал лицо в ладонях, прикурил и, выпрямившись, закричал нам, указывая рукой:

### - Солнце!

Я оглянулся. Высоко над рощей высветилось солнце, и река тут же озарилась синим и голубым. И всё вокруг стало пёстрым и радостным. От широкой волны, догоняющей нас, и от мелких волн, поспевающих следом, длинно и косо бежали и вспыхивали жёлтые тени и росчерки. И берег, и ивы светились рыжим, живым и зелёным.

Доля заулыбался солнцу, обрадовался, вытер ладонью выжатые ветром слёзы и тоже сказал:

#### – Солнце!

И больше мы не молчали, смеялись, перекликались, и Доля Иванович также что-то лопотал, ёрзал и размахивал белой рукой. Мотор звенел, захлёбываясь на повороте ветром, то стрекотал, как швейная машинка. И я узнавал пролетающие мимо знакомые и давно забытые мной места и радовался, заново их открывая.

Мы поменялись с Сашей местами. Теперь я вёл сам. Пальцы зябли, и я, отклоняясь вбок, подставлял руку под горячую струю, быющую из мотора. Мы разглядывали птиц, которые подбегали к кромке воды, чтобы рассмотреть нас. Маленькие нас не боялись нисколько, а большие разглядывали с настороженным любопытством.

Мурачиха, древняя тёмная курья, была далеко, и мы часа три добирались до неё.

- Устал, Доля?
- Есть немного.
- Потерпи, уже подъезжаем.
- Да уж вижу, кивает он головой. Вон берёза-то, стоит ещё, держится. Помнишь берёзку-то?

Я улыбаюсь, сбавляю газ — под берёзой прячется в воде большой камень, и мне радостно, что я его помню. И пускай у нас под кормой шина, я всё равно беспокоюсь и веду лодку медленно и осторожно. И так же осторожно крадётся по воде её удлинённая тень.

 Большая вода, не заденет! – отмахивается Саша.



Но я не слушаюсь. Гляжу на берёзу, старую, тёмную. Она изогнулась над водой, вцепилась чёрными корнями в глину, свесила длинные, как верёвки, плакучие ветви, и вся, будто в мелких каплях, от первой зелёной листвы. Под берёзой кручёными нитями тонко бежит вода, как продолжение ветвей, — с болота пробирается. И тянет холодом, словно морозной свежестью. И берег здесь красный, будто кирпичный.

Мы проходим берёзу, и я прибавляю газ, тороплюсь из морозной мглы туда, где яркой, нарядной полосой играет солнечная вода.

За поворотом луг, долгий, некошеный, с сиротливыми стожарами на три-четыре промёжка. Избушка на склоне тускло отсвечивает слеповатым окном. Мы причаливаем, вытягиваем повыше лодку и коротко гремим на весь берег рассыпчатой цепью. Доля ходит уже пошатываясь, опираясь на лодочный шест, прямит затёкшие ноги.

- Не замёрз? то ли шутит, то ли беспокоится Саша.
- Не-е! В тулупе-то хорошо! Руки только замёрзли. Теперь согреюсь.

Мы поднялись в гору, к избушке. Саша снял с гвоздя ключ, открыл навесной замок и, заглянув в сырой нежилой сумрак, поздоровался:

Ну, здравствуй, хозяин! Пусти попереночёвывать!

«А ведь ничего не изменилось, — думал я, оглядываясь вокруг. — Вот та же русская печка, та же лежанка с лосиной шкурой, те же нары дощатые сбоку и стол у окна. И даже вытертый чёрный китель с белыми моряцкими пуговицами в том же углу, на том же гвозде, который я вбил обухом топора».

Что, глазки заблестели? – усмехнулся Саша.Дождался?

И мы стали обживаться. В первый день до вечера было не до рыбалки. Настежь распахнули окно и двери, впуская живое тепло, затопили русскую печь. Доля, морщась от дыма, варил на костре кашу. Я колол дрова в щелястой сараюшке, посматривал сверху на Долю Ивановича и представлял, какой у него сейчас на душе праздник, когда я сам без вина пьян и счастлив оттого, что вернулся, что я снова здесь, на Мурачихе.

— Так что же? Может, по пятьдесят? — не утерпел Саша. — Доля Иванович, ты как?

- Я, если немножко, то могу, ответил с запинкой Доля. Мне теперь мало надо.
- А мы много и не нальём! Экономия! Давай в одну кружку и по кругу!

Мятая алюминиевая кружка. Ручка у неё в берестяной рубашке. Саша отпивает глоток, передаёт и тут же, торопясь, прижимая к груди каравай, режет его, ловко переворачивая. Я густо солю хлеб и себе, и Доле. И Доля тянет свой глоточек, запрокидывает голову, и тонкая кожица складкой натягивается на его пупырчатой шее.

Потом мы едим кашу. Она пахнет дымом и гарью. Быстро студится на ветру и с краю покрывается плёнкой. Ветер посвистывает в кружке и звенит в бутылке. Я снова делаю глоток водки, отставляю кружку. Мне кажется, что теперь ветер звенит и во мне. Чёрные угольки попадаются в каше и хрустят на зубах.

- Ну что? Хорошо тебе, Доля? спрашивает довольный Саша.
  - Хорошо.
- Вот видишь! Хорошо, что с нами поехал. А то всё один да один.
- Один, соглашается Доля. Да одна голова нигде не бедна. А хоть и бедна, так всё равно одна...

Он скребёт ложкой по дну миски, потом подкидывает дров в костёр и ложится на расстеленный тулуп. Костёр разгорается весело, с шумом. Пламя срывается, и весь жар только сбоку. Саша переставляет ведро, и вода тут же начинает шипеть и ходить пузырьками.

Вечером мы трясём сети. Доля тихонечко загребает, постукивает веслом о борт лодки, заглядывает за мою спину. Саша подтягивает к себе тетиву, приподымает сеть. В натянутых ячеях пластинкой встаёт вода, вспыхивает на солнце и лопается. Тетиву начинает водить — там рыба заячеилась и висит, показывая белое брюхо. Саша выпутывает рыбу, и мы снова крадёмся вдоль сетки. Высокие чёрные ели заглядывают к нам в лодку и настороженно следят за нами.

– Разверни! – просит Саша.

И Доля, глубоко окунув весло, поворачивает им в глубине, и мы отодвигаемся в сторону, в глубь улова<sup>18</sup>.

 Три рыбы, — жалуется огорчённо Саша. — Мало!





 Так мало и сеть стояла, — отвечает Доля. — Утром будет!

Улово как тёмная стеклянная чаша — так неподвижна и спокойна в нём вода. А посередине мы висим в лодке, как рыба в сети. Тишина опускается нам на плечи. Ни звука. Как осенью. И отчего-то птиц не слышно. Доля сидит, положив весло на колени, и с весла каплет тихо и беззвучно. Мы с Сашей курим, и огоньки наших сигарет разгораются невпопад, но в такт нашим раздумьям. Вот о чём думает Саша, я знаю, — о рыбе. А Доля Иванович о чём? У костра, развалившись в тулупе, он признался, смущаясь:

 А я вот, ребятки, наверно, в последний раз сюда приехал. Больше уж не бывать! Спасибо вам, попрощаться привезли.

Вот о чём он думает! О своей последней рыбалке! Он каждый миг со своей Мурачихой прощается. А силушка-то в нём есть! И терпение, и сноровка. Сам за весло попросился и пошёл, слева, справа! Сперва заволновался — нос у лодки зарыскал, а потом — как по ниточке! Эх... Доля, Долюшка!

Сигареты докурены. Доля переложил весло, устроился поудобнее, лодка качнулась, и по всей чаще разбежались мелкие волны.

- Поехали, что ли? Доля поворачивает лодку на выход, из курьи<sup>19</sup>. Нос лодки шуршит, раздвигая старую осоту.
- Давай я! предлагает Саша, берёт длинный шест и правит лодкой, широко расставив ноги. Здесь глубоко шест уходит почти на всю длину. За нами вытягивается гладкая блестящая дорожка. Течение сносит её. Шест выходит из воды тихо, без плеска, и оттуда, где он только что был, уносится журчащая воронка.

От костра ещё дым ползёт. Лезет столбом в небо и только на высоте елей сворачивает коромыслом в сторону.

Ночью дрожащий огонь из русской печи освещает нашу избушку. Саша сложил колодцем тонкие осиновые полешки, пихнул лучину да завиток бересты, подсветил и теперь курит в печку, и лицо его румяно от печного дрожащего огня. Доля ворочается на лосиной шкуре, вздыхает и наконец шутит:

На светлую божию ноченьку похрапеть бы на всю моченьку!

- Храпи, Иваныч! откликается Саша. Умаялся за вёслами?
- Умаялся! Давно не грёб! готовно признаётся Доля. Сколь долог-то день был! Я думал, не кончится.
- Это ведь хорошо! кивает Саша. Только по мне, день быстро прошёл! Вообще, время быстро летит, успевай только...
- А хорошее всегда быстро идёт! перебивает Доля. Значит, время хорошее. Если б время тоскливое было, знаешь, как долго б оно шло! А так быстро, значит, всё хорошо, раловаться надо!
  - А чего тогда сказал: думал, день не кончится?
- А потому что старый! Старый что малый! Вспомни, как долго день тянулся, когда малыми были. Столько всего переделаешь! И нарадуешься. И наплачешься. Всё было... Вот и я сегодня и нарадовался, и наплакался, и даже рюмочку выпил, а так ведь давно не пивал боялся! Я б, ребятки, и сейчас выпил!
  - Так что? Будешь, что ли? изумился я.
- Буду! ответил Доля. Да у меня и у самого есть, прихватил! и полез в рюкзак. Вот, видите! Давайте понемножку, ребятки, про хорошее вспомним!

Водка булькает по кружкам — к питию. Тонкие полешки догорают в русской печи, потрескивают. И ровное глиняное тепло идёт кругом по всей избушке, укутывает, как шерстяным платком, плечи. И белая ночь льётся в окно. Птицы журчат, вскрикивают, как дети, перелётывают между осинками. И когда они спят, неугомонные? Или жить торопятся?

А хоть и белая ночь, в избушке сумрачно. Темно под нарами, под столом, темно по углам и за печью. Образок медный на зымзе<sup>20</sup> едва светится.

В окно видно, как сильно движется река, широкое светлое плёсо $^{21}$ . А в курье темно — над ней ели стоят, не шелохнутся.

Дремлет наша избушка. Сохнет, поскрипывает. Порой прошуршит песком мелко-мелко за печной стеною, будто горбушку кто присолит солью. А Доля рассказывает и радуется тому, что его слушают.

— Мы с батей под Часовней ловили, на Тёплом улове. Знаете, поди, то место? Берег там сырой, крутящий, не постоять — ноги засасы-



вает. Батя бранится, почто дощечку не взял? Бросил бы под ноги — легче бы стоять! А я терплю. Мнусь на одном месте. То одну ногу вытащу, то другую. Зыбко там. Седун. Роднички повсюду бьют. А рыба идёт — только успевай верхоплавок вытаскивать. Батя говорит, надоела мелочь. Я сейчас щуку вытащу, вот увидишь! На живца поймаю!

- И поймал? недоверчиво спросил Саша.
- И поймал! Как выпростнет! Щука-то сорвалась да выше бати на берег плюхнулась! Катится по горе, серпом изгибается. Гора-то крутящая! Батя орёт: «Долька, прыгай! Лови её!» А сам на неё котом сигает! А я не могу: ноги-то у меня повыше косточки засосало. Пока дёргался, батя со щукой-то в улово-то и нырнул! Только фуражка плавает! Ну, вытащил я его, он ругается: «Что не помог? Такую щуку упустили!» «Засосало, – говорю, – ноги!» «Засосало!» — и такого шелбана мне отвесил. Так верите ли, как вспомню, так лоб сразу и созвенит! Хорошая была щука, светлая. В озёрах она, сами знаете, темнее, а тут – речная, светленькая, а до чего бойкая! Ушла! – Доля сокрушённо покачивает головой, будто бы он сам эту шуку час назад проворонил.

Мы смеёмся, утешаем Долю, и каждый из нас норовит рассказать свой забавный случай.

 Пейте, ребятки, чего вино сушите? – просит Доля. – А я на вас погляжу!

Перед сном Саша достаёт из стенного шкапчика будильник, протирает рукавом выпуклое стекло, дует в скважинки и заводит. Будильник тотчас начинает отстукивать. Я лежу на нарах и разглядываю с любопытством эти старинные пузатые часы. Мне кажется, что я вижу, как медленно движется узорчатая стрелка. В круглом стекле отражаются оконная рама и бледное жемчужное небо.

Саша курит, подсунув кулак под голову, и опять о чём-то размышляет. А Доля Иванович спит, — и спит так тихо, что и не слышно, как он дышит. Его кружка с недопитой водкой стоит на столе. «Утром с чаем допью, — говорит он, укладываясь, — а пока пойду ко сну отбиваться». И вот отбился, намаялся бедный и счастливый Доля.

Доля Иванович был прав, когда рассказывал мне про свои нехитрые праздники. Каждый день для меня, проведённый, прожитый в родном Верстенье, стал как праздник. И если в каждом празднике есть, кроме радости и счастья, ещё и грусть от скоротечности хорошего и доброго, то именно так всё и обернулось для меня. Дни пролетели быстро, радостно и пёстро. Недели через полторы к Доле приехал сын, и Доля, весь охваченный новыми заботами и беспокойством, простился со мной коротко, даже поспешно, на прощание обнял и, отстраняясь, сказал:

 Да наловим мы ещё с тобой щук! Хватит мне дней – не все ворона растаскала!

И я уехал, обещав вернуться.

Долину лодку, к слову сказать, мы спустили. Она тут же заполнилась водой и покорно легла на песчаную отмель. Через день мы выхлестали воду. Теперь лодка хоть и держалась на плаву, но к вечеру, задрав нос, садилась кормой на дно. Доля горевал и чуть не плакал.

Пришёл август, я снова созвонился с Сашей и готов был собирать в дорогу свой нехитрый рюкзачишко — Верстенье манило меня, — как вдруг пришло печальное известие: Доли Ивановича не стало.

Саша рассказал, что сын Доли, собрав документы, решил отправить отца в дом престарелых, оправдываясь тем, что квартирка его мала, жена против, в интернате будет и лечение, и уход. Доля пытался остаться, даже сбежать. Накануне отъезда он долго сидел перед своей полузатопленной лодкой.

Утром он попросил шофёра и сына, когда из деревни выедут, на горе остановиться, чтобы на родное Верстенье ещё раз взглянуть.

- Не нагляделся, что ли? спросил сын.
- Да разве наглядишься? ответил Доля. —
  Ты останови, я ненадолго.

Шофёр потом оправдывался Саше:

— ...Да разве убыло бы, если б я на горушке остановился? А я забыл! Ходом проскочили! Слышу, он мне по сиденью постучал: останови, браток! Да где там! Перед ручьём тормознул — колеи там — оглянулся, а его уж нет... Вот теперь меня совесть мучает, всё чудится, что он по силенью в машине ладошкой хлопает...



# Примечания

- <sup>1</sup> Запольки дорога за домами вдоль полей. На Пинежье это слово всегда употребляется во множественном числе.
- <sup>2</sup> Аншпуг жердь, кол, используемый в качестве рычага.
- <sup>3</sup> Шитуха узкая длинная лёгкая лодка, шитая из еловых досок.
- <sup>4</sup> Свиль вид дефекта, сильно изогнутое в разных направлениях расположение волокон в древесине.
- <sup>5</sup> Накорестить нагородить, что-то несуразно сделать.
- <sup>6</sup> Сбежистый имеющий сбег, сужение ствола.
  - <sup>7</sup> Ли́ства лиственница.
- <sup>8</sup> Болонистый от «заболонь». Наружный, молодой и менее плотный слой древесины, лежащий непосредственно под корой.
  - <sup>9</sup> Распятнать разметить.
  - 10 Стамяк косяк дверей или окон.
- <sup>11</sup> Дресва мелкий песок, получаемый из дресвяного камня; используется для натирания некрашенного пола голиком (веником из берёзовых прутьев без листьев).
  - <sup>12</sup> Вехть тряпка.
- 13 Кеврола деревня в Пинежском районе Архангельской области.

- $^{14}$  Проследье от глагола «следить», то есть «оставлять след».
- 15 Мусёнка похлёбка из сваренной в воде ячменной муки.
  - <sup>16</sup> Клочь кочка.
  - <sup>17</sup> Баса красота.
- <sup>18</sup> Улово участок реки, где образуется противоток основному потоку либо водоворот.
  - <sup>19</sup> Курья на Пинежье старое русло реки.
- <sup>20</sup> Зымза прибитая в угол в виде треугольника полочка, где хранятся мелкие хозяйственные принадлежности и инструмент.
- 21 Плёсо прямолинейное направление реки от одного загиба или берегового выступа до другого, русло реки между порогами с тихим течением воды.



родился в 1961 году в Архангельске.

Член СП России.

Председатель Архангельского регионального отделения СП России. Автор трёх поэтических сборников, одной книги прозы. Стихи, рассказы и повести печатались в альманахах и в журналах «Москва», «Парус», «Русское воскресение», «Вологодский лад», «Российский писатель», с 2010 года постоянный автор в литературно-художественном журнале «Двина». Лауреат Всероссийской литературный премии «Имперская культура»,

«Имперская культура», лауреат «Российского писателя» за 2018 год. В журнале «Север» публикуется впервые.



